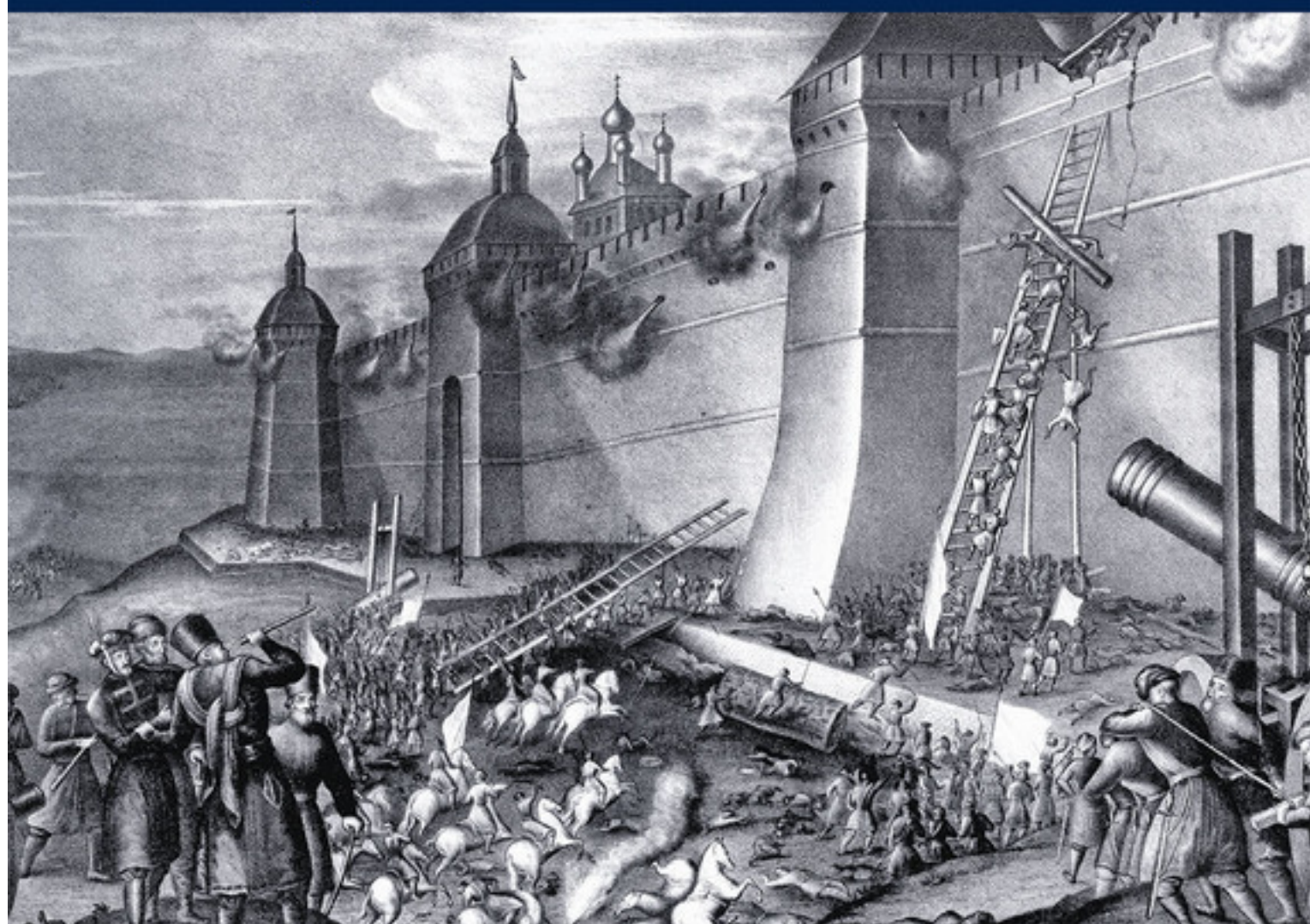


Д. П. Бутурлин

История

Смутного
времени в России
в начале XVII века



Дмитрий Бутурлин

**История Смутного времени
в России в начале XVII века**

Издательство «Кучково поле»

1841

Бутурлин Д. П.

История Смутного времени в России в начале XVII века /
Д. П. Бутурлин — Издательство «Кучково поле», 1841

ISBN 978-5-9950-0314-4

Книга в трёх частях, написанная Д. П. Бутурлиным, военно-историческим писателем, участником Отечественной войны 1812 года, с 1842 года директором Императорской публичной библиотеки, с 1848 года председатель Особого комитета для надзора за печатью, не потеряла своего значения до наших дней. Обладая умением разбираться в историческом материале, автор на основании редких и ценных архивных источников, написал труд, посвященный одному из самых драматических этапов истории России – Смутному времени в России с 1584 по 1610 год. В приложениях к каждой части содержатся документы эпохи: план осады Троице-Сергиева монастыря в 1608–1610 гг., дневник осады Смоленска польским королём Сигизмундом III в 1609, 1610 и 1611 годах, а также грамоты, указы, записи, письма, договоры, написанные от имени царевича Дмитрия Ивановича, царя Василия Ивановича, царицы Марфы Федоровны, патриарха Иовы, гетмана Петра Сапеги, шведского генерала Якова и других исторических лиц. Издание предназначено для специалистов-историков и читателей, интересующихся отечественной историей.

ISBN 978-5-9950-0314-4

© Бутурлин Д. П., 1841

© Издательство «Кучково поле», 1841

Содержание

Часть I	5
Глава 1	5
Глава 2	45
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Дмитрий Петрович Бутурлин

История Смутного времени в России в начале XVII века

*Посвящается от сочинителя графу Иллариону Васильевичу
Васильчикову, в знак душевного почтения*

Часть I

Глава 1 (1584–1605)

Начало XVII века в России ознаменовано событиями чрезвычайными, кои тем более изумляют нас, что история предшествующего полувека нисколько не приготовляет к оным. Русский народ, двадцать четыре года сряду безропотно покоряющийся всем неистовствам царя Иоанна Васильевича Грозного, вдруг сам разрывает все узы законной подчиненности и с неимоверным остервенением вдается в ужасы самовольства и безначалия. Дух буйства и раздора, предавая все сословия иступлению гнуснейших страстей, потрясает самые начала государственного образования и очевидно влечет Россию к конечному разрушению ее самобытности. Но самая безмерность зла ужасает строптивейших. На краю бездны русские внемлют гласу погибающего отечества. Сильный единодушный порыв уничтожает вероломные замыслы внешних врагов и внутренних крамольников, и спасенная Россия успокаивается на обновленных основах своих. Только внимательный разбор подробностей происшествий того времени может объяснить нам причины сих дивных переворотов, важным следствием коих было изменение в общественном устройстве самого многолюднейшего сословия в России.

Восемнадцатого марта 1584 года смерть прекратила ужасные дни Грозного. Казалось, русским оставалось только с восторгом благодарить Всевышнего за избавление свое от мучительств его. Но люди, искренне преданные отечеству, не без трепета встречали новое царствование. Известное всем слабоумие Феодора, сына и преемника Иоаннова, давало повод опасаться, чтобы через безуправство не помрачилось величие государства. Нельзя было не признаться, что свирепая, но мощная рука царя Иоанна не без пользы действовала к довершению великих начинаний глубокомысленного деда его, великого князя Иоанна III, настоящего основателя российской монархии. Но через бессилие недужного Феодора Россия могла снова утратить столь дорогой ценой ею приобретенные блага.

Впрочем, события, казалось, не оправдали сих опасений. Феодор, равнодушный ко всем почестям и обязанностям своего высокого сана, любил только на сем свете колокольный звон и достойную супругу свою, царицу Ирину, родной брат которой, Борис

Феодорович Годунов, находился уже в боярском звании еще при жизни покойного царя. Сему хитрому, честолюбивому вельможе, одаренному от природы необыкновенными способностями, нетрудно было через посредство нежно привязанной к нему сестры овладеть совершенно царем и его именем управлять государством. Ему обязана Россия, что четырнадцатилетнее Феодорово царствование справедливо почитается одной из счастливейших эпох в ее истории. Внутреннее благоденствие народа, укрощение опасного черемисского бунта, озабовавшего последние годы правления Иоаннова, возвращение силой оружия от шведов Ивангорода, Ямы, Копорья и Кексгольма, упрочение и распространение завоеваний в Сибири и,

наконец, уничтожение зависимости российской церкви от цареградской посредством установления самобытного патриаршества в Москве доказали правительственную мудрость Годунова и, казалось, служили верным залогом прочности российского могущества. Однако среди сих славных подвигов два действия воли Годунова, одно преступное, другое, может быть, по тогдашним обстоятельствам необходимое, посеяли уже семена будущих зол. Говорим об убийстве царевича Димитрия и о законе касательно укрепления крестьян.

Смерть царевича была нужна Годунову для исполнения дерзких замыслов его. Правитель (сам патриарх так называл Годунова), упоенный властью безмерной, с ужасом рассчитывал, что мгновение могло лишить его оной. Все зависело от жизни царя, которому слабое сложение тела не обещало ни многолетия, ни потомства. Единственным наследником его был восьмилетний брат его, царевич Димитрий, живший с матерью своей, из фамилии Нагих, в данном ему в удел городе Угличе. При воцарении Димитрия Годунов неминуемо сделался бы жертвой закоренелой ненависти к нему Нагих. К естественному желанию отвратить грозящую ему опасность присоединились еще в сердце Годунова и обольщения верховного сана. Уже царь на деле, он хотел быть и царем по имени. Один Димитрий заграждал ему путь к престолу: участь царевича была решена!

Замышляя погибель его, Годунов искал сперва обесславить его в общем мнении. Приверженцы правителя рассеивали повсюду, что царственный отрок выдаваемой им в играх и разговорах лютостью уже уподоблялся зверскому отцу своему¹. С другой стороны, основываясь на происхождении его от седьмого брака, православной церковью запрещаемого, Годунов выставлял его незаконнорожденным и запретил помянуть его имя на литургии. Позволительно предполагать, что правитель некоторое время думал сим средством отстранить опасного соперника и без совершения преступления, коему еще противоборствовала его совесть. Но дальновидность его скоро указала ему ненадежность принятых мер. Нетрудно было угадать, что со смертью Феодора исчезнет всякое сомнение насчет законности рождения Димитрия в глазах народа, искренне привязанного к поколению старинных государей своих. Оставалось или отказаться от очаровательной мечты, или сделаться злодеем. Годунов выбрал последнее.

Хотя правителю удалось закупить царевичеву мамку, боярыню Волохову², однако бдительность нежной матери и верной кормилицы не позволила исполнить первопринятого намерения тайно известить Димитрия. Прибегнули к злодейству открытому. Посланные от Годунова в Углич убийцы Данило Битяговский и Никита Качалов с помощью мамкиного сына Осипа Волохова зарезали царевича пятнадцатого мая 1591 года около полудня, на крыльце занимаемого им дворца. Встревоженный страшной вестью угличский народ толпами бросился к дворцу и в иступлении горести, при виде бездушного трупа, убил трех злодеев и с ними отца Битяговского и еще трех человек и одну женщину, подозреваемых в участии в преступлении. Если взять в соображение, сколь нужно было Годунову прервать все нити, по наущению его же приверженцев городские жители самоуправно отомстили за смерть царевича.

Успокоенный касательно явных против себя улик, правитель еще тревожился слухом о народной молве, грозно указывающей на него как на первого виновника преступления, которое никому иному и полезно быть не могло.

Дабы избавиться от страшного нареkania, ему не представлялось другого средства, как стараться доказать, что самое преступление было вымышленное. Хотя трудным казалось в ложном виде выставить происшествие, коему свидетелем был, так сказать, целый город, однако Годунов отважился на сие предприятие, и лукавство его и тут увенчалось успехом почти невероятным.

По повелению его отправлены были немедленно из Москвы в Углич три следователя, а именно боярин князь Василий Иванович Шуйский, окольный и царский дядька Андрей Васильевич Клешнин и дьяк Вылузгин. Клешнин был известным угодником правителя. Ничтожность Вылузгина сокрыла от потомства его образ мыслей; нет сомнения, однако ж,

что он избран был из числа преданнейших слуг Годунова. Но все покрылось громким именем Шуйских. Никому безызвестно не было, что сии горделивые потомки государей Суздальских явно враждовали Годунову, который, платя злобой за злобу, в недавнем времени еще приказал удавить двух бояр Шуйских, князя Андрея Ивановича и племянника его, знаменитого защитника Пскова, князя Ивана Петровича. Поэтому назначение князя Василия Ивановича казалось действием смелым, являющим беспристрастие правителя. Но он уже успел преклонить на свою сторону князя Василия Ивановича. Сей вельможа, сам едва ли уступавший Годунову в лукавстве и честолюбии, убедился, что в неравной борьбе с обладателем государства он только изготовил бы себе неминуемую гибель, и потому решился отказаться от семейной ненависти и сблизиться с убийцей своих сродников, в ожидании от него важных для себя выгод и почестей. Годунов, желая упрочить примирение с ним, выдал свояченицу свою, девицу Екатерину Скуратову, за меньшого его брата, князя Димитрия.

Легко себе вообразить, что таковые следователи действовали по направлению Годунова. Единодушное свидетельство углицких жителей было устранено, а основанием розыска приняты показания некоторых лиц, закупленных или застрашенных³. Царю донесли, столице объявили, что царевич сам закололся в припадке падучей болезни. Сей изворот тем приятнее был для Годунова, что давал ему повод дать восчувствовать гнев свой тем, кои искренне оплакивали Димитрия. Наказуя будто бы небрежение о царевиче, Нагих разослали в отдаленные города, а вдовствующую царицу, постриженную поневоле и нареченную Марфой, заключили в монастырь⁴. Угличане также не укрылись от злобы правителя: их укоряли в пролитии мнимой невинной крови убийц царевичевых. До двухсот из них были казнены, другие рассажены по темницам, а большую часть вывели в Сибирь и населили ими город Пелым⁵. Запустение древнего Углича осталось для потомства печальным памятником мести и преступления Годунова.

Выказывая свое могущество погублением противников своих, вместе с тем правитель убеждался в необходимости воспользоваться первым случаем, дабы умножить во всех сословиях число своих приверженцев благодеяниями, щедрой рукой излиянными.

Сей случай не замедлил представиться, и столь для него благовремени, что современники не усомнились приписать оный его же тайным побуждениям. Москва загорелась двадцать второго мая не случайно, а по злоумышлению и, утверждают, по повелению Годунова⁶. Пожар был ужасный. Уцелели только Кремль и Китай-город. Сие бедствие уже тем было полезно для Годунова, что отвлекало умы от толков о смерти царевича. Но правитель сим не удовольствовался. Он явился среди отчаявшихся москвитян в виде ангела-утешителя, сыпал деньгами, давал льготные грамоты, одним словом, не только всякий получил нужное пособие, но даже для многих вознаграждение превышало убытки. Неминуемым следствием сей расчетливой расточительности было то, что все нарекания против Годунова умолкли, и имя его громко славилось в столице⁷.

Таким образом, правитель приближался к своей цели, как вдруг нечаянное событие едва не ниспровергло все его замыслы. Царица Ирина оказалась беременной и четырнадцатого июня 1592 года родила дочь Феодосию. Но сия неожиданная соперница недолго беспокоила Годунова: она скончалась в следующем году, и преждевременная смерть ее навлекла новое подозрение на правителя.

Другое действие воли Годунова, не менее смерти царевича Димитрия пагубное для России по последствиям своим, было, как уже сказано, укрепление крестьян.

Исстари в России люди низшего состояния разделялись на два сословия: *холопей*, находившихся в домашней службе не только у чиновных людей, но и у купцов, и *крестьян*, упражнявшихся в сельских занятиях. Холопы также были двух родов: полные и кабальные. Полными назывались те, которые находились, с потомством своим, в вечном и потомственном владении у господ своих. Кабальные же, также с происшедшими от них, были крепки тому господину,

которому давали на себя кабалу только на время его жизни; по смерти же его опять получали свободу. Всякий вольный человек, не исключая и крестьян, имел право не одного себя, но даже и детей своих записывать в полные или кабальные холопы к какому бы то ни было господину. Что касается до крестьян, то они всегда были людьми вольными, не имевшими, впрочем, собственности недвижимой. Они пользовались важным правом произвольно переходить ежегодно из одного селения в другое, рассчитавшись предварительно с прежним владельцем. Дабы не делать помешательства в сельских работах, срок перехода положен был по окончании оных и ограничивался двумя неделями, а именно за неделю до осеннего Юрьева дня и через неделю после оного. Крестьяне, в вознаграждение за предоставляемые им участки земли, работали на владельца и вместе с тем платили в казну подать, которая обеспечивалась посеянным на их участках хлебом.

В сем, так сказать, кочевом состоянии крестьяне хотя и не могли никогда благоденствовать, ибо владельцы, не радея о временных работниках своих, обременяли их трудами непомерными, а сироты, увечные, престарелые оставались без приюта и призрения, основывая всю надежду свою пропитаться на прихотливых побуждениях сострадания чужих людей, однако же важных государственных неудобств не представлялось, пока Россия пребывала в стесненных границах и, в особенности, пока удельная система разрезывала ее на мелкие владения. Но когда с водворением единодержавия и расширением пределов государства круг перехода крестьян чрезвычайно увеличился, бродяжничество их со дня на день становилось вреднее. Зло сие дошло до высочайшей степени с покорением Казани и Астрахани, обезопасившим все пространство земли, между Цной и Волгой лежащее. Сия обширная, плодородная страна, редко населенная мордвой, чувашами и татарами, представляла важные выгоды для новых переселений. Нетрудно было сильным вельможам и богатому духовенству приобрести там пустошь и переманивать на оные поселян из внутренних областей России, к крайнему разорению бедных мелкопоместных владельцев, не имевших возможности доставлять крестьянам своим льгот и выгод, предлагаемых выходцам зажиточными людьми. Первым следствием сего было запустение сел и деревень в окрестностях самой столицы, как свидетельствует о том очевидец, английский посланник доктор Флетчер, бывший в Москве в 1589 году. Годунов, с одной стороны, предусматривая ослабление государства от могущего произойти в самых недрах оного безлюдства, а с другой – желая угодить мелкопоместным владельцам, составлявшим в тогдaшнее время главную военную силу России, прибегнул к мерам решительным. Увлекаясь примером соседственных земель – Литвы, Лифляндии и Эстляндии, где с давнего времени крепостное право владельцев селений распространялось и на жителей оных, он запретил переход крестьян и велел им оставаться навсегда в тех местах, где они значились по переписным книгам, составленным в 1593 году. Впрочем, и тут закон не предоставлял их еще в полное распоряжение владельцев, так что никто не мог своего крестьянина, против воли его, обратить в полное или кабальное холопство⁸.

Сим важным постановлением не ограничился правитель в преследовании бродяжничества. В 1597 году повелено все крепости на полных холопей и все кабалы на кабальных записывать в книги в Холопьем приказе и запрещено холопам выкупаться от кабалы взносом той суммы, за которую они закабалились. При сем случае сделан разбор вольным людям, служащим у господ без кабал. Тем из них, которые у кого служили менее полугода, предоставлено было на волю или закабалиться тому же господину или искать другого; но что касается до людей, служивших полгода или более беспрерывно у одного господина, то таковому выдавалась на них кабала, даже и без их согласия, по той причине, *что он их кормил, одевал и обувал*⁹.

Сии распоряжения, столь стеснительные для личной свободы людей низших сословий, неминуемо должны были породить в них сильное негодование. Сожаление их об утраченных правах сохранилось даже до наших времен в следующей народной пословице: «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» Годунову нельзя было не знать о всеобщем ропоте, но он полагал, что

может пренебречь неудовольствием народного класса, хотя и самого многочисленного, но бедного, безоружного и, следовательно, незащитного. Увидим, что он обманулся в своем расчете и что он сам и Россия дорого заплатили за сию ошибку.

Феодор тихо приближался ко гробу, не оставляя по себе наследника, которого, по тогдашнему образу мыслей, можно было бы назвать законным. Московский великокняжеский дом гибнул под ударами собственных чад своих. Так как все помышления глубокомысленных государей сего дома устремлялись к водворению единодержавия и к учреждению престолонаследования по праву представления первородства, а не по старейшинству в роде¹⁰, то для достижения сей важной двойной цели они даже не дорожили связями семейными. Самые близкие кровные их сделались жертвой мрачной политики. Иных умерщвляли, других предавали вечному заточению. Так сгубили: Василий Темный двух двоюродных братьев, Василия Косого и Димитрия Шемяку, и третьего правнучатого, Василия Боровского с тремя сыновьями его; Иоанн III родного внука своего, Димитрия Ивановича, и родного брата Андрея Углицкого с двумя сыновьями его; Василий Иванович – правнучатого брата Василия Шемяку Рыльского; правительница Елена – деверей своих, князей Юрия и Андрея Ивановичей, и, наконец, сам царь Грозный – двоюродного брата, князя Владимира Андреевича, и двух сыновей его. Кроме того, великие князья неохотно позволяли братьям своим вступать в брак, отчего некоторые из них умирали холостыми. При таких противных расположению действиях неудивительно, что царский корень, хотя от природы одаренный довольно замечательной плодовитостью, иссякал и что одинокий Феодор оставался без сродников, даже дальних, по мужскому поколению.

Впрочем, хотя племя московских государей решительно пресекалось, однако много еще было в России князей, имевших в Рюрике и Мономахе общих с ними родоначальников, но никто и не мыслил, чтобы в сих боковых отраслях, униженных местничеством, могло еще сохраниться право на наследование престола царского.

В наше время мало понимают местничество. Историки, не исключая и самого Карамзина, приписывают изобретение сего чудного учреждения единственно сумасбродному тщеславию старинной нашей аристократии, а вкоренение оного беспечному послаблению московских государей. Но кто же были сии государи? Летописи указывают нам, что местничество, начало свое восприявшее при Иоанне III¹¹, размножилось при сыне его Василии Ивановиче, а утвердилось и сделалось настоящим государственным учреждением при Васильевом сыне, Иоанне Грозном, который письменным законом указал оному правила и пределы. Можно ли с правдоподобием осуждать в беспечности и послаблении государей, отличавшихся необыкновенной дальновидностью и чрезвычайной твердостью, часто доходившей даже до лютости, и не должно ли, напротив того, полагать, что государи сии сами желали введения местничества, не без важных на то политических причин, которые даже и угадать нетрудно! Стоит только вспомнить, что главнейшим государственным делом того времени было водворение и упрочение единодержавия. Покорение князей удельных водворяло уже единодержавие, но еще для упрочения оного нужно было уничтожение их потомков. Для достижения сей цели московские государи со свойственной им проницательностью избрали орудием местничество. Так как служба в московском войске была первой обязанностью покоренного удельного князя, то неминуемо он должен был находиться под начальством боярина, коему вверено было войско. Сию случайную подчиненность старались обратить в постоянную. Есть врожденное чувство, даже и в наше время в сердцах не совсем угасшее, по коему сын знатного сановника считает себя выше сына чиновника, под начальством отца его служившего. Основываясь на сем, местничество постановило правилом, что когда кто начальствовал над кем, то сын начальствовавшего не может без позора находиться на службе ниже сына того, кто был подчинен отцу его¹². Таким образом, в новоучреждаемой в XVI веке аристократии для подавления прежних знатнейших родов Квашнины, Бутурлины, Воронцовы, Шереметевы и многие другие дворянские фамилии

вступили на высшую степень достоинства перед князьями Долгорукими, Лобановыми, Гагариными и прочими потомками Рюрика. В сем положении могли ли сии еще мечтать о правах своих на престол великокняжеский?

Однако нельзя пройти в молчании, что род князей Шуйских, происходящих от великого князя Андрея Ярославича, второго брата Александра Невского, и, следственно, составляющий отрасль, ближайшую всех прочих от московской ветви, не утратил еще своей знаменитости и мало кому уступал в первенстве. Представителем прав сего рода по первородству был князь Михайло Васильевич Шуйский-Скопин, коего природа как бы приуготовляла к высокому назначению, одарив его свойствами необыкновенными, достойно развившимися к чести и славе Отечества. Но будущий герой был еще двенадцатилетним сиротой и имел только дальних родственников, из коих ближайший, правнучатый дядя его, князь Василий Иванович Шуйский, уже предавшийся правителю, нелегко бы решился отказаться от ожидаемых от него милостей для поддержания прав отрока, коего польза мало касалась до него.

Если обратиться к женскому поколению царского дома, то и в оном Годунов не опасался уже соперничества. Ближайшей сродницей царю Феодору в сем поколении была его внучатая сестра, вдовствующая королева Ливонская, Мария Владимировна, дочь князя Владимира Андреевича Серпуховского¹³. После смерти супруга ее, мнимого короля Магнуса, она с малолетней дочерью своей, Евдокией, смиренно жила в курляндском городе Пильтене, купленном Магнусу отцом его, королем датским. Но Годунов еще в 1587 году успел и мать, и дочь зазвать в Москву, обещая матери богато устроить участь ее и приискать ей достойного жениха. По прибытии же их в столицу объявили несчастной матери, что она должна постричься, если не хочет быть разлучена со своей дочерью и окончить дни свои в темнице. Мария избрала монастырь, утешаясь мыслью, что удержит при себе милое дитя¹⁴. Но Евдокия могла ли избежать участи, ожидавшей тех, коих существование тревожило Годунова? Она скончалась в 1589 году, и если верить преданиям, то смерть ее была не естественной. Горестная мать еще провела несколько лет в глубокой печали и, наконец, сама скончалась в 1597 году¹⁵. После нее остался ближайшим сродственным Феодору, по царскому женскому поколению, его внучатый племянник князь Феодор Иванович Мстиславский, которого бабка, княгиня Настасья, была дочь царевича Казанского, Петра, и царевны Евдокии, дочери великого князя Иоанна III. Но правитель не опасался князя Мстиславского. Сей слабодушный вельможа, совершенно чуждый оболъщениям властолюбия, искренно страшился тяжкого бремени венценосцев и твердо хотел всегда оставаться первым подданным. К тому же он столь боялся Годунова, что даже дал ему обещание не вступать в брак. Хотя сестра Мстиславского, Настасья, при брате своем не могла иметь ни малейшего права на престол, но она была в замужестве за Симеоном Бекбулатовичем, царевичем татарским, которого царь Иван Васильевич, при учреждении¹⁶ опричнины, объявил царем и великим князем всея России, а потом, когда уничтожил опричнину, то велел управлять ему Тверью с наименованием царя и великого князя Тверского. Сии чрезвычайные почести, подкрепляемые свойством с царским домом, придавали такую знаменитость Симеону, что, несмотря на довольно ограниченные способности его, многие помышляли о возведении его на царство по ожидаемой кончине Феодора. Сия мысль, сообразная духу местничества, в особенности должна была нравиться великим боярам, которые охотнее подчинились бы тому, кто, нося хотя только имя царя, стоял уже на высшей перед ними степени достоинства, чем кому-либо из среды их же самих избранному и, следственно, дотоле им равному. Сие расположение умов не могло укрыться от Годунова. По повелению его Симеон был изгнан из Твери и сослан в одну из своих деревень, но и тут казался еще опасным правителю, который будто бы в знак доброжелательства прислал ему на именины испанского вина. Симеон выпил оно и ослеп, как сам полагал, от смешанного с вином ядовитого зелья¹⁷.

Сими злодеяниями очистив себе путь, Годунов старался поселить в умах понятие, что по пресечении царского корня венец никому приличнее поднесен быть не может, как ближайшему родственнику последнего государя, без разбора о происхождении сего родственника. Многие, вероятно, полагали действие сего правила обратить в пользу дома Романовых, вообще любимого в народе по воспоминанию о добродетельной матери царя Феодора Иоанновича, царице Анастасии Романовой, из сего дома произошедшей. Ближайшим родственником царя был двоюродный его брат, а царицы Анастасии родной племянник, боярин Феодор Никитич Романов. Не так рассчитывал Годунов! По наущению его царь духовным завещанием отказывал престол супруге своей, царице Ирине¹⁸. Честолюбец знал, что смиренная Ирина не пожелает царствовать, но для исполнения замыслов своих ему нужно было положить державу в руку ее хотя бы на несколько дней. Таким образом, последним государем был бы уже не Феодор, а Ирина, а у нее мог ли быть родственник ближе брата ее родного?

Все совершилось по желанию правителя. Седьмого января 1598 года Феодор скончался, и с ним пресеклось на престоле царское поколение, семьсот тридцать пять лет сряду дававшее повелителей России! Феодор, умирая, оставил, по словам важного современного акта, «на скипетродержании Российского царства» царицу Ирину. В сей решительный час Годунов бодрствовал. Он немедленно напомнил боярам, что должно присягнуть царице. Никто не только не противился, но даже все с радостью видели в воцарении Ирины удобнее средство к удалению роковой минуты, где должно будет заняться опасным и затруднительным выбором нового государя. Чиновники и граждане, одинаковыми чувствами одушевленные, с усердием последовали примеру знатных сановников.

Ненадолго успокоилась Москва. Пятнадцатого января царица объявила, что, желая принять монашеский чин, отрекается от престола и вверяет правление боярам и патриарху до тех пор, пока успеют собраться в Москве все чины Московского государства для избрания нового царя. Напрасно духовенство, сановники и граждане заклинали Ирину именем сиротствующего отечества не оставлять державы: она пребыла непреклонной и удалилась в Новодевичий монастырь, где и постриглась под именем Александры.

Годунов последовал за ней, по-видимому, оставляя бразды правления на произвол судьбы, как бы сам ища успокоения после утомительных трудов. Но многочисленные приверженцы его не дремали! Они повсеместно внушали гражданам, что одна, на опыте доказанная государственная мудрость Бориса может в сих трудных обстоятельствах сохранить величие и спокойствие России. Подстрекаемый сими ухищрениями, народ толпился в Кремле вокруг палаты, где заседали патриарх и бояре. Вышедший из оной государственный дьяк и печатник Щелкалов предложил, чтобы все целовали крест на имя Думы боярской. Ему отвечали, что не хотят и знать бояр и что присягали уже царице, которую и в черницах почитают государыней своей¹⁹. Щелкалов доложил о сем Думе, и снова вышел к народу, объявляя, что царица решительно не хочет заниматься делами светскими и что, если не присягнут боярам, то должно страшиться смут, от безначалия происходящих. Тогда все возопили: «И так да царствует брат ее!» Патриарх Иов, обязанный высоким своим саном Годунову, был ему совершенно предан. Бояре же, легко угадывая, что все уже уготовлено самим Борисом для исполнения давнишних замыслов, не смели противоречить. Положили немедленно идти всем собором в монастырь, дабы просить царицу благословить на царство брата своего. Но сие избрание не казалось довольно торжественным Борису. Желая получить державу не от одной Москвы, но от целой России, он лицемерил, клялся, что никогда не смел и помышлять о венце Мономаховом, говорил, что в России много вельмож, превышающих его знатностью и мудростью, и, наконец, решительно отрекся от престола, присовокупив, впрочем, что не жалеет себя для службы Отечеству, и с *боярырадеи и промышляти рад не токмо по-прежнему, но и свыше первого*²⁰.

Бояре поняли значение сих слов: Борис, оставляя за ними призрак власти, не хотел ни выпускать из рук своих сущность оной, ни дать родиться мысли, что и без него государство обойтись может. Решили, что в ожидании постановлений созываемого великого Земского собора Боярская дума будет управлять именем царицы-инокини Александры. Само собой разумеется, что на самом деле ничего не творилось без соизволения Годунова.

Между тем клеветы его действовали усердно не только в столице, но даже и во всей России; их старанием разнеслась молва о нападении хана Крымского, и они внушали, что для защиты Отечества от угрожаемой опасности непременно нужно ускорить избранием в цари мужа опытного!²¹

Государственный Земский собор открылся в Кремле семнадцатого февраля. Он состоял из знатнейшего духовенства, бояр, дворян и выборных людей из всех городов российских, всего около пятисот особ²². Прений не было. Патриарх первый предложил избрать на царство Бориса Феодоровича Годунова. Согласие многочисленного собрания было громогласное и единодушное. Долго раздавалось одно имя Бориса. Многие искренне видели в его воцарении залог будущего благоденствия России. Другие, может быть, в сердце своем питали ненависть к счастливому честолюбцу и не без внутреннего омерзения содействовали успеху замысла, на злодеянии основанного; но, как всегда бывает в подобных случаях, опасаясь обнаружить настоящие чувства свои, более всех предавались восторгу.

Дабы отвратить в народе всякое подозрение насчет искренности отказа Годунова от престола, патриарх посвятил следующие два дня на моления в Успенском соборе, чтобы Всевышнему угодно было смягчить сердце Борисово и склонить его не отказываться от бремени, Отечеством на него налагаемого. Только двадцатого числа святитель с главным духовенством и боярами отправился в Новодевичий монастырь объявить Годунову о решении Земского собора. Но Борис еще не переставал хитрить. Он не только вторично отвергнул подносимую державу, но и клялся, что никогда не примет ее, и с притворным гневом выслал из монастыря духовенство и вельмож.

Наконец, двадцать первого февраля настал последний день сего игрища. На рассвете духовенство с крестами и хоругвями вышло из Кремля и, при колокольном звоне и пении, церковным ходом отправилось в Новодевичий монастырь. Потом шли бояре, дворяне, боярские дети, приказные и выборные люди. За ними поднялась вся Москва. Все пали перед царицей-инокиней, прося ее, чтобы повелела Борису не противиться воле Божией и народной. Патриарх объявил даже, что если желание народное не будет выполнено, то он не только Годунова отлучит от церкви, но что даже он сам и все епископы сложат с себя святительский сан, оставят кресты и хоругви в Новодевичьем монастыре и запретят во всех церквях всякое священнодействие. Царица долго колебалась, наконец, благословила брата на царство. Годунов еще упорствовал. Но царица уже решительно требовала от него повиновения, и он с притворным смирением и как бы не смея противиться той, которую еще почитал своей государыней, объявил, наконец, что исполнит желание народное. Радость была неописанная. Все плакали, обнимали друг друга. Казалось, что новое царство прочно основывалось на торжественном единомыслии всех сословий. Но горе тому, кто безусловно полагается на любовь народную, столь прихотливую и столь переменчивую!

Еще три года продолжалось счастье Бориса и благоденствие России. В делах внешних царь, не обнажая меча, умел сохранить достоинство своей державы и внушить всем соседям своим должное к себе уважение: царь иверийский искал его покровительства от утеснений султана турецкого и шаха персидского, крымские татары оставались в улусах своих, не смея тревожить набегами южные пределы России. Шведы тщательно старались не давать повода к новому разрыву. Один король польский медлил продолжать перемирие, заключенное пятнадцатого августа 1587 года на пятнадцать лет между Россией и Польшей, но, когда срок перемирия приблизился, и он оказался податливее. Присланные от него в Москву послы подписали

одиннадцатого марта 1601 года договор, по силе коего перемирие продолжено еще на двадцать лет, считая с истечения прежних пятнадцати.

Внутреннее управление государства отличалось также счастливым слиянием твердости и кротости. Трепетали одни злодеи! Умеренность в налогах, свобода в торговле и общая безопасность повсюду открывали новые источники промышленности и богатства. Казалось, что сие цветущее положение Отечества должно было усугубить любовь народную к Борису. Явилось противное!

Для людей, одаренных необыкновенными способностями, часто бывает камнем преткновения нескромное желание опережать свой век. Редко сие удается, и немного петров великих в истории. Самому мудрому Борису суждено было испытать на себе, что истинно государственный человек не должен замышлять нового, к которому соотечественники его еще достаточно не приготовлены. Вообще в России гнушались иностранцами и их обычаями, а всякое иноверческое богослужение было даже предметом набожного омерзения. Несмотря на то, царь, умевший ценить европейское просвещение, прельстился оным. Он не только ласкал иноземцев, но даже для удержания их в Москве честил и награждал их более, чем вернейших своих русских слуг, и, наконец, в угождение им позволил выстроить в Яузской слободе лютеранскую церковь с колокольней. Он также имел намерение завести университет, а между тем, дабы приохотить русских к наукам, послал восемнадцать молодых детей боярских учиться в Любек, в Лондон и во Францию. Не ограничиваясь сим, он коснулся и старинных обычаев и видел с удовольствием, как при самом дворе его пожилые люди, желавшие ему подслужиться, подстригали себе бороды²³. Сто лет спустя Петр I, царский сын и внук, едва мог себе позволить таковые действия. Но для новой династии Годуновых не было другого средства укорениться, как тщательно стараясь всеми возможными нитями связаться с прошедшим, без всяких помышлений о небывалом. Борис, в упоении самонадеянности, дотоле чудным успехом оправдываемой, не постиг настоящего своего положения и без нужды подал повод недоброжелателям своим возбуждать негодование в народе. Не должно забывать при сем случае, что, несмотря на блестящее состояние государства, было много недовольных. Истинно преданным царю можно было только почитать средний класс народа, состоящий из купечества, обогащавшегося под сенью его твердого и умного управления, и мелкопоместных помещиков, коих благосостояние обеспечивалось запрещением перехода крестьян. Но самое запрещение сие оставляло в сильном неудовольствии как земледельцев, оплакивавших утраченную свободу, так и больших владельцев, видевших в новом постановлении ограничение выгод своих. Вольные слуги, против воли в холопство обращенные, также не могли доброжелательствовать Борису. К тому же и гордым вельможам неестественно было бы без досады преклонять колена перед бывшим товарищем, коего большая часть из них превосходили знатностью породы.

Известившись о всеобщем ропоте, царь изумился. Но вместо изыскания надежнейших средств к прекращению неудовольствий он обратился к мерам, долженствовавшим усугубить оные. Не доверяя никому, он стал поощрять наушников и доносчиков. Язва доносов, едва ли не более всех прочих золотягающих человеческие общества, кажется им несносной, потому что, охлаждая гражданские и семейственные связи, она лишает каждого естественного приюта от кручин, с жизнью сопряженных. Легко себе вообразить, что ненависть к Борису усилилась.

Знаменитейшей жертвой подозрений царя сделалось семейство Романовых. Борис уже и на престоле тревожился еще мыслью, что по смерти его молодой Феодор, сын его, может найти опасных соперников в Романовых, отличавшихся собственной знатностью, сильно подкрепленной родственными связями с первейшими фамилиями в государстве. Сначала он искал сблизиться с ними. Феодор Никитич был уже боярином. Борис дал еще боярство второму его брату Александру, а меньшую сестру их Ирину выдал замуж за свойственника своего Ивана Ивановича Годунова. Но, когда говор общего негодования дошел до него, то, возмечтав, что тайными виновниками оного были Романовы, он стал искать случая погубить их. Подкупленный

свойственником царя, Семеном Годуновым, слуга Романовых, Бартенев, донес, что господа его умышляют известить царя, и в доказательство представил найденные в кладовой у Александра Никитича мешки с кореньями, приготовленными, как уверял он, для отравления Бориса. Как будто бы злодейские припасы хранятся в кладовых? Несмотря на нелепость обвинения, Дума боярская в угождение царю осудила Романовых²⁴. Феодора Никитича и супругу его, Ксению Ивановну, постригли против воли, нарекли Филаретом и Марфой и сослали в дальние монастыри. Опала распространилась и на всех ближних их. Также были разосланы по северным городам и монастырям Феодора Никитича сын и дочь, теща, четыре брата, сестра (девица) и две сестры замужние с супругами их, князьями Сицким и Черкасским, и с сыном последнего. Сродники Романовых, князья Сицкие, Шестуновы, Карповы и Репнины подверглись такой же участи. Всех сих несчастных вотчины и поместья роздали другим, а дома и движимое имение взяли в казну. Не коснулись только одной из сестер Романовых, Ирины Годуновой, уважая в ней имя супруга ее.

Гибель сих знатных вельмож, очевидно невинных, усилила раздражение умов против царя. Впрочем, еще зло могло называться частным; общее спокойствие государства оставалось ненарушимым под сенью твердого управления Бориса, и сие обстоятельство, казалось, упрочивало державу в сильной руке его. Но час суда Божия уже наступал для венценосца, злодейством достигшего верховного сана! Вся внутренняя мудрость его должна была сокрушиться перед готовившимся для целой России одним из ужаснейших бедствий, коими Провидение в неисповедимых советах своих казнит народы и коих никакая предусмотрительность человеческая отворотить не может!

Весной 1601 года начались проливные дожди и продолжались непрестанно в течение десяти недель²⁵. Посеянный хлеб не созревал. Устрашенные земледельцы всю надежду свою возлагали на поздние жары; вместо того пятнадцатого августа сделался сильный мороз, побивший не только не дозревшие колосья в полях, но и всякого рода плоды и овощи в садах и лесах. Сжатый после столь преждевременной стужи хлеб оказался не только в малом количестве, но и без надлежащей питательности. Хотя еще много было запасов старого хлеба, но цена на жизненные припасы чрезмерно возвысилась. Для бедных пропитание сделалось затруднительным. Общая беда разорвала в народе последние узы преданности к Борису, уже не могущему славиться счастливым царствованием. Волнение и ропот столь усилились, что царь почел нужным несколько утешить земледельцев. Он знал, сколь ненавистным для них казалось запрещение вольного перехода от одного владельца к другому, но не хотел отменить постановления, основанного на важных государственных причинах и привлекающего к нему сердца мелкопоместных военных людей. Дабы не лишиться своей державы сей последней опоры, он решился допустить только некоторые исключения, лестные для земледельцев, но безобидные для целого класса мелкопоместных владельцев. В ноябре 1601 года царь объявил, что позволяет переход крестьян в Юрьев день и две недели спустя того, но только от одного мелкопоместного помещика к другому таковому же, и с тем еще ограничением, что один владелец мог переманивать в один срок не более двух крестьян. Впрочем, сия льгота не касалась Московского уезда, где запрещение перехода оставалось во всей силе, так же, как и для крестьян царских и владельцев духовных и великопоместных во всем государстве. Нетрудно угадать причину сей разности в последнем отношении. У богатых владельцев крестьяне были счастливы и спокойны; в угнетении находились только земледельцы у мелких помещиков, следственно, не было нужды изменять положения первых. Не так легко объяснить, почему льгота не распространялась на весь Московский уезд; впрочем, с некоторой вероятностью можно предположить, что тамошние мелкопоместные владельцы не смели, так сказать, под глазами правительства во зло употреблять свою власть, и что, с другой стороны, народонаселение сего уезда находилось в таком цветущем положении, что правительство не желало ни уменьшения, ни умножения оног²⁶.

Может быть, Борис успел бы восстановить спокойствие в государстве, если бы небо перестало карать Россию. Но, к сокрушению ее, за первым неурожайным годом последовали два такие же. Наши летописцы приписывают вину неурожая 1602 года легкомыслию самих земледельцев²⁷. В России всегда стараются засеять поля новым хлебом, считая, что оный способнее старого для произрастания. Крестьяне, всегда руководимые слепым обычаем, не усомнились и тут последовать оному и употребили в посев новый хлеб, тощий и совершенно лишенный растительной силы. Нигде не было всходов. Что касается до неурожая 1603 года, то современники не объясняют нам причину оного. Из сего можно заключить, что настоящего неурожая не было, но что мало собрали хлеба единственно от того, что большая часть полей осталась незасеянной, как от недостатка зерен, так и от изнурения телесных сил пахарей.

Голод свирепствовал с необычной лютостью. Современники, к ужасу позднейшего потомства, передали нам страшное описание последствий оного. Дороговизна хлеба сделалась непомерной. Четверть ржи, обыкновенно продаваемая от двенадцати до пятнадцати копеек, возвысилась до трех рублей, составляющих десять нынешних серебряных²⁸. Люди, нуждой доведенные до отчаяния, явно попирали не только священнейшие правила нравственности, но даже самые законы природы, и, в остервенении своем уподобясь злейшим из зверей, пожирали друг друга. Все связи общественные и семейные расторгались. Господа изгоняли слуг своих, мужья покидали жен и детей, чтобы не делиться с ними скудным пропитанием. Дошло до того, что человеческое мясо продавалось в пирогах на московских рынках. Но что всего ужаснее и чего без содрогания написать нельзя – матери ели собственных младенцев своих!

Правительственные меры для отвращения сих бедствий оказались не только недостаточными, но даже в некоторых отношениях и вредными. Напрасно сраженный горестью Борис являл себя царем сердобольным и заботливым: Россия уже не видала в нем ни прежнего благоразумия, ни прежней твердости. Он не щадил сокровищ своих, но употреблял их не всегда с должной осмотрительностью. Так, например, по повелению его были учреждены в Москве, близ деревянной городской стены, четыре ограды, в коих каждое утро раздавалось бедным каждому по одной московке, а в воскресные и праздничные дни по деньге²⁹. Сколь ни тягостна была сия раздача для казны, пособие для неимущих было почти ничтожно, потому что на московку едва ли можно было купить и полфунта хлеба. Несмотря на то, народ, всегда жадный к деньгам, добываемым без работы, кинулся толпами к столице, сперва из окрестных, а потом даже из дальних мест. Туда спешили даже и такие, которые на родине своей могли бы кое-как прокормиться. Неминуемым следствием такого стечения было для Москвы умножение дороговизны и нераздельных с оной бедствий. Наконец, царь был вынужден прекратить раздачу денег. Тогда несчастные пришельцы, возвращаясь без малейшего пособия, устилали трупами своими все пути, от столицы ведущие.

Впрочем, если взять в соображение как изобилие прежних лет, так и то обстоятельство, что, кажется, неурожай не распространялся на восточные области государства, то не остается сомнения, что было еще много старых запасов в России; но, с одной стороны, корыстолюбие таило их, а с другой, трудность подвоза представляла важные препятствия. Однако Борис успел, хотя бы отчасти, преодолеть оные. Он приказал освидетельствовать царские гумна, где нашлись давнишних лет огромные скирды, которые обмолотили, и хлеб доставили в Москву. Там ежедневно продавалось бедным из царских житниц по несколько тысяч четвертей за половинную цену. Вдовам же и сиротам и в особенности немцам царь велел отпустить значительное количество даже безденежно. Такое пристрастие к иноземцам, во всяком случае, противное осторожной политике в сих плачевных обстоятельствах, оказывалось еще более оскорбительным и ненавистным. Не одни царские гумна изобиловали еще хлебом; многие помещики также не нуждались в оном и, поощренные высокой ценой, вероятно, изыскивали бы средства в перевозке, если бы правительство не вмешивалось неуместно в их действия. Царь, не рассудив, что

благотворение может быть внушаемо, а не предписываемо, вздумал принудить продавцов из уважения к общему бедствию отказаться от ожидаемых ими выгод и приказал отобрать у них хлеб за такую низкую цену, что, может быть, иные не получили должного вознаграждения и за понесенные ими самими издержки. Случилось, чего ожидать было должно: никто не только не смел выказывать более своего хлебного имущества, но даже все старания приложены были к сокрытию оною.

Только некоторые достойные вельможи, сжалившись над общей нищетой, стали еще продавать хранящийся в их житницах хлеб дешевле существующей цены. Но как их, так и царские щедроты не принесли всей возможной пользы от неблагоприятия раздачи. Вместо того чтобы из амбаров продавать неимущим семействам только нужное количество хлеба для их дневного пропитания, отпускали им оный без разбора. Сребролюбие воспользовалось сей оплошностью, и московские барышники посредством бедных людей накупили несколько тысяч бочек муки, которую потом перепродавали ценой непомерной.

Гораздо рассудительнее Борис поступил, приказав начать огромное каменное строение в Кремле, дабы посредством работы доставить пропитание нуждающимся³⁰. Милость царская изливалась не на одних живых. Москва наполнялась мертвыми телами, коих хоронить было некому. Учрежденные приставы подбирали их, омывали, завертывали в белые саваны, обували в красные коты³¹ и отвозили на три за городом устроенные кладбища, где в два года и четыре месяца таким образом похоронено сто двадцать семь тысяч трупов³². Если к сему присовокупить, что множество еще тел было погребено богобоязливými людьми при приходских церквях, коих в столице тогда считалось более четырехсот, то смело, кажется, можно положить, что в одной Москве до двухсот тысяч человек сделались жертвой голода.

Но не одна столица бедствовала. Царь не оставил без призрения и прочие места своего государства. Ивангород, Новгород, Псков, Смоленск и другие нуждавшиеся города получили важные денежные пособия³³. Казна царская, богато накопленная в семнадцатилетнее благоденствие России, являлась неистощимой.

Обыкновенным следствием голода бывают повальные болезни. И сего бедствия не избежала Россия: в некоторых местах, а в особенности в Смоленском уезде, явилась слишком для нашего времени известная холера (*cholera morbus*). Правительство вынужденным нашлось учредить заставы для пресечения сообщений с зараженным краем³⁴.

Наконец, благословенный урожай 1604 года восстановил прежнее изобилие, так что цена четверти ржи от трех рублей упала до десяти копеек³⁵. Но памятником голода осталась навсегда нововведенная мера хлеба. Прежде продавали оный только бочками и четвертями и осьминами оных. С голодных же лет бочки вышли из употребления, а вместо того известными стали четверики, то есть четвертая часть осьмины.

Несчастливая Россия долго еще не должна была наслаждаться спокойствием. Самым пагубнейшим следствием претерпенного ею бедствия было ослабление всех нравственных понятий. Разврат распространился на все сословия. Господа, до того столь тщательно старавшиеся умножать число своих холопей³⁶, распустили их во время голода, иные по действительной невозможности прокормить их, другие из корыстолюбия, чтобы обогатиться продажей хлеба, который, по долгу своему, обязаны были употребить на их пропитание. Некоторые из них, по крайней мере, снабжали холопов формальными отпускными, но многие, не столь совестливые, изгоняли их от себя без всякого вида, с преступной мыслью возвратит их опять к себе в подданство по миновании дороговизны. Таким образом, государство наполнилось бродягами, из коих многие, забыв страх Божий, обратились к разбойничеству. В разных местах образовались большие шайки, из коих важнейшая, под предводительством некоего Хлопка, свирепствовала в окрестностях самой Москвы и неоднократно разбивала посылаемые против

нее сыскные отряды³⁷. Царь наконец нашелся вынужденным противопоставить сим презренным врагам целое войско под начальством окольного Ивана Федоровича Басманова. Хлопок не устрасился вступить с ним в бой близ Москвы. С обеих сторон сражались упорно, и Басманов был убит; но сия удача злодеев обратилась им на пагубу. Царские воины, ожесточенные смертью начальника, бросились на них с новым стремлением и, наконец, сломили их. Сам Хлопок защищался храбро, но, изнемогший от многих ран, был взят и с пятьюстами товарищами своими отправлен в Москву, где все они были казнены; многие остались на месте сражения³⁸. Прочие же ушли на Украину, где умножили число, и без того уже значительное, тамошних негодяев.

Еще царь Иван Васильевич, желая для укрепления границы России от Польши и татар населить как можно более украинские города людьми, к ратному делу способными, предписывал тамошним воеводам не тревожить тех, кои будут укрываться в сих городах, избегая заслуженного ими в России наказания³⁹. Борис Феодорович последовал той же политике, и наводненная отважными злодеями Украина сделалась опасным вертепом, где самая власть правительства не всегда находила должное послушание. Так, например, напрасно царь приказывал сыскивать и вешать удалившихся туда сообщников Хлопка. Воеводам трудно было исполнить повеление сие над преступниками, покровительствуемыми подобными же разбойниками. Бесчиние уже посеяло в сей стране семена новых и пагубнейших бедствий для России.

Все ужасы, уже претерпенные государством, были, так сказать, только преддверием готовящейся для него настоящей беды. Около 1600 года⁴⁰ пронеслась в Москве молва, что царевич Димитрий, которого полагали убиенным в Угличе, находится в живых. Хотя одно имя невинной жертвы должно было казаться грозным для ее убийцы, но смерть царевича была действием столь явным, столь достоверным, что Борис мало тревожился слухом, коего неосновательность была очевидна. Однако он старался узнать, что могло подать повод к нелепой басне, и еще более успокоился, когда добрался до презрительного источника оной. Все казалось только делом бессмысленного суесловия молодого монаха, жившего у патриарха.

Сей юноша, предназначенный изумлять потомков дивными похождениями своими и служить орудием Провидения для казни преступного Бориса, был сын бедного сына боярского города Галича и назывался Юрием Отрепьевым⁴¹. Оставшись после смерти отца своего почти без всякого приюта, он постригся на пятнадцатом году и принял имя Григория. Но иноческий клобук не предохранил буйной головы его от порыва пламенных страстей светских. Несколько времени скитался он по разным обителям и, наконец, основался в Чудове монастыре, в келье у деда своего Замятни-Отрепьева, который давно уже там монашествовал. Будучи одарен природой способностями необыкновенными, умом пылким и предприимчивым и отважностью, более свойственной воину, чем монаху, он вместе с тем был легкомысленным и заносчивым до безрассудности. С самого младенчества своего с успехом занимаясь книжным делом, он выучился не только читать и чисто писать, но даже сочинял каноны святым лучше старых грамотеев. Такие, по тогдашнему времени чрезвычайные, познания обратили на него внимание патриарха, который посвятил его в дьяконы и взял к себе для списывания книг. Тут имел он случай познакомиться с людьми, хорошо знавшими все обстоятельства, до царского дома относящиеся. Через них он мог узнать, что, по довольно обыкновенной игре природы, царевич Димитрий имел некоторые одинаковые с ним признаки, а именно, что у царевича, как и у него, были бородавки на лице и одна рука короче другой⁴². Мысль дерзкая, по первому взгляду вовсе сумасбродная, родилась в душе его. Он возмечтал, что может выдать себя за убиенного царевича и с помощью одного самозванства низложить Бориса, располагавшего еще всеми силами обширного государства. В упоении непостижимой самонадеянности он начал оглашать со свойственной ему ветреностью свои затеи и часто в разговорах своих с чудовскими монахами уверял их, что будет царем на Москве. Иноки, не воображая, чтобы значение сих дерзких

слов заключало в себе что-либо важнее шуток, впрочем, весьма непристойной, довольствовались тем, что смеялись над хвастуном и плевали ему в глаза. Но ростовский митрополит Иона, коему сии речи переданы были, судил о них иначе. Он стал примечать за поступками наглого дьякона и убедился, что в душе его кроются опасные для общего спокойствия замыслы. Сперва митрополит счел долгом своим предупредить о сем патриарха; но первосвященитель, коему Григорий нравился, не хотел верить, чтобы он мог зазнаться до такой степени, и в самой нелепости возводимого на него преступления находил доказательство неосновательности извета. Тогда Иона решился о всех замеченных им обстоятельствах донести самому царю, который, соображая оные с носившимися уже слухами, хотя также не почел их делом, заслуживавшим большого внимания, однако приказал дьяку Смирному-Васильеву послать вряля-дьякона в Соловецкую пустынь под крепкое начало. Васильев открылся о сем повелении дьяку же Семену Ефимьеву, который был родственником Отрепьевых и потому просил Васильева не спешить исполнением царской воли, дабы дать Григорию время приготовиться к дальнейшему пути. Васильев, не воображая, чтобы молодой монах мог быть важным преступником, не только согласился удовлетворить желанию товарища своего, но даже впоследствии, среди других забот, и совершенно забыл о данном ему приказании. Пользуясь его беспечностью, Григорий ушел из Москвы и укрылся сперва в монастыре Николы на Угреши⁴³, но не посмел остаться в столь близком расстоянии от столицы и удалился в город Галич, в Железнодорожный монастырь, откуда перешел в Муром, в Борисоглебскую обитель. Принимать таким образом в монастырях странствующих монахов нисколько противно не было гостеприимным обычаем того времени⁴⁴. К тому же Григорий более других еще мог снискивать благосклонность незнакомых ему людей, потому что был действительно красноречив и имел наружность хоть и не красивую, но довольно привлекательную. Борисоглебский строитель дал ему лошадь и отпустил его обратно в Москву.

Проходя таким образом по разным областям государства, Отрепьев мог убедиться в общей ненависти к Борису⁴⁵ и тем самым укрепиться в мысли отыскивать престола под именем царевича. Но, рассудив, что в столице оставаться ему небезопасно и что только приготовясь исподволь и действуя сначала издалека, он мог ожидать успеха в дерзновенном предприятии, потому решился искать убежища в Польше, дабы там, под покровительством всегда неприязненного для России правительства, надежнее устроить ковы свои.

Двадцать третьего февраля 1602 года он опять выехал из Москвы в сопровождении подговоренных им двух чудовских пьянству преданных монахов, священника Варлаама Яцкого и крылошанина⁴⁶ Мисаила Повадина. На нанятых им подводах они через Болхов и Карачев достигли Новгорода-Северского, где в Спасском монастыре приняты были так милостиво, что Отрепьева архимандрит поместил в собственной своей келье⁴⁷. Поживя тут несколько недель, Григорий стал проситься у архимандрита ехать с товарищами своими в Путивль, где, говорил он, будто имеет сродников. Архимандрит не только отпустил их, но даже дал им лошадь и провожатого. Но не Путивль был целью Отрепьева: его намерение было пройти в Польшу, и для того он взял еще с собой днепровского киевского монастыря монаха Пимена, находившегося случайно в Новгороде-Северском и обещавшего провести его за границу. По выезде своем из города монахи отогнали от себя провожатого, который хотел их направить на путивльскую дорогу, и вместо того поехали по киевской. Провожатый, возвратясь к архимандриту, донес ему об обмане. Негодование архимандрита было велико, но его ожидало еще большее огорчение. Когда он ложился спать, то нашел в изголовье постели своей записку, оставленную там Отрепьевым, следующего содержания: «Аз есмь царевич Дмитрий, сын царя Иоанна, и как буду на престоле на Москве отца своего, и я тебя пожалую за то, что меня покоил у себя в обители». Архимандрит ужаснулся, но, недоумевая, как поступить в столь неожиданным случае, решился никому не объявлять об оном.

Между тем бродячие монахи не смели прямой дорогой ехать в Киев, опасаясь пограничных застав, и поворотили сперва на Стародуб, откуда Пимен провел их лесными тропинами за польский рубеж до села Слободки. Продолжая уже безопасно путь свой через замок Лоев и город Любеч, они прибыли в Киев. Печерский архимандрит Елисей принял их в свою обитель, где и прожили они три недели, по истечении коих отправились в Острог к киевскому воеводе, князю Константину Острожскому, знаменитому поборнику православия греческой церкви против нововведенной унии, которую польское правительство силилось распространить в принадлежавших ему русских областях. Отрепьев не смел открыть почтенному вельможе своих тайных замыслов и ограничился только просьбой принять его с товарищами под свое покровительство. Набожный князь не отказался призреть бедных монахов; дьякон Григорий служил при нем на обедне; и голос его понравился ему. Беглые монахи все лето провели в Остроге, а при наступлении осени князь послал их в Дерманский монастырь. Но Отрепьев не для того бежал в Польшу, чтобы там монашествовать. Он, покинув своих товарищей, перешел в город Гошу и пристал к анабаптистам⁴⁸. Тут, в первый раз свергнув с себя иноческий клобук, он ходил в школу, прилежно занялся науками, затвердил довольно хорошо историю и усовершенствовался в польском языке⁴⁹. Он даже обучался и по-латыни, но не с большим успехом. Впрочем, мирные труды сии недолго занимали его. В бытность его в Киеве он познакомился с приезжавшими туда запорожскими казаками. Жизнь беззаботная и безнравственная их удалой вольницы нравилась ему. С другой стороны, он чувствовал, что, готовя себя к важному назначению, ему непременно нужно приучиться к военному ремеслу. Он решился, по весне 1603 года, ехать к запорожцам и разбойничал с ними в шайке старшины Герасима Евангелика. Воинственные наклонности его скоро получили надлежащее развитие: он научился мастерски владеть оружием и сделался отважным наездником⁵⁰.

Однако, несмотря на все усилия его, чтобы сделаться достойным высокого имени, какое желал он присвоить, нет сомнения, что все пространные замыслы его ограничились бы смехом достойным пустословием и что он ничего важного предпринять никогда не был бы в состоянии, если бы не нашел себе сильной опоры в иезуитах, которые, к счастью его и к несчастью России, узнали о его тайной думе и вознамерились воспользоваться им как орудием для исполнения собственных своих видов.

Кому неизвестны дух любоначалия и ревность к обращению в папешество сего, впрочем, ученостью и глубокомыслием знаменитого собратства? Тогда находилось оно в самом цветущем положении, и иезуиты влияние и происки свои распространяли почти на все государства обоих земных полушарий. Не стесняясь правилами строгой нравственности, они для достижения цели своей избирали средства надежнейшие, без зазрения прибегая, судя по обстоятельствам, то к высочайшей добродетели, то к злейшему преступлению, то к достохвальнейшему праводушию, то к гнуснейшему ухищрению. Могущество их в Польше сделалось неограниченным со вступлением на престол шведского королевича Сигизмунда III, государя, преисполненного ханжества. Следствия слепого доверия короля к ним оказались пагубными для Малороссии.

Более двух столетий полуденная Россия находилась под державой государей литовских или польских; но русские жители оной и под чужим ярмом сохраняли свою народность, управлялись своими соотчичами, судились своими законами и на собственном языке и, что всего важнее, безвозбранно исповедовали правоверие. Когда совершилось конечное соединение Литвы с Польшей при короле Сигизмунде Августе, русская земля и княжение Киевское были отделены от Литвы и присовокуплены к Польше. При сем случае прежние права русских были подтверждены данной королем привилегией, в коей, повторяя слова прежних привилегий, *что русские присоединяются к полякам, как равные к равным и свободные к свободным*, торжественно обещалось сохранение равенства между церквями римской и греческой и одинаковое

производство в сенаторские и прочие достоинства людям обоих исповеданий. Сам Сигизмунд III при восшествии своем на престол не смел отступить от прежних правил и в 1588 году на сейме коронации подтвердил все старинные права православного русского духовенства. Но иезуиты, успевшие овладеть умом сего государя, недолго позволили ему оставаться при сей благоразумной веротерпимости. По несчастью, они нашли сообщников в самых главнейших сановниках малороссийской церкви. Прельщенные обещаниями милостей королевских, епископы Луцкий, Владимирский, Хельмский и Пинский, архиепископ Полоцкий и сам митрополит Киевский Михайло Рагоза уговорились между собой присоединиться к римской церкви на правилах давно забытого Флорентийского собора и отправили в Рим с покорностью своей епископов Владимирского и Луцкого. Чрезмерно обрадованный папа Климент VIII милостиво принял их и обещал исходатайствовать у короля право заседать в польском сенате всем епископам, которые согласятся отстать от православия и признать его власть. Но отступники-святители много ошиблись, если полагали, что нетрудно им будет совратить с пути истины единоверцев своих. Предлагаемая ими уния (так называется соединение греческой церкви с римской) была принята с омерзением как духовенством, так и мирянами. В особенности восстали против нее Геден Балабан, епископ Львовский, Михайло Копыстенский, епископ Перемышльский, и князь Константин Острожский, воевода Киевский. Напрасно клятвопреступный митрополит надеялся на созванном им в Бресте соборе под надзором польских послов склонить или принудить все малороссийские епархии к принятию унии: верные сыны церкви не поколебались. Епископ Львовский доказал, что уния принимала безусловно все догматы римские, оставляя только одни обряды греческие, для обмана простодушных. Собор разделился на два, предающих проклятию один другого. Но, несмотря на явное покровительство польского сейма, к стороне приверженцев унии пристало весьма мало людей. Напротив того, православие удержало при себе несравненно большее число как духовных, так и вельмож и простых мирян. Тогда Сигизмунд, разгневанный неудачей и подстрекаемый иезуитами, решился прибегнуть к принудительным мерам. По повелению его отнимали у православных храмы их и отдавали униатам, насильно выгоняли народ на униатское богослужение, и во время одного польские жолнеры с обнаженными саблями вынуждали при чтении Символа Веры громогласно произносить римское прибавление относительно исхождения Духа Святого: *и от Сына*. Наконец, терпение малороссиян истощилось. Тамошние казаки взяли за оружие под знаменами избранного ими гетмана Наливайки. Сначала действия его ознаменованы были важными успехами; но, наконец, коронный напольный гетман Жолкевский разбил казаков совершенно. Сам Наливайко был взят в плен и в Варшаве живой сожжен в медном быке. По смерти сего мученика православия поляки с лютостью торжествовали над несчастной Малороссией. На сейме 1597 года народ русский объявлен *отступным, вероломным, бунтливym*. Старинные права его все были уничтожены. Православное шляхетство отлучили от всех должностей военных и судебных и назвали холопами. Также отобрали от православных староства и ранговые имения их. Малороссия наводнилась польскими воинами, которые под предлогом подаяния нужной помощи униатам свободно бесчинствовали. Одно корыстолюбие оставило еще несколько храмов для греческого исповедания. Они были отданы на откуп жидам, которые только за деньги позволяли православным исправлять требы свои и брали с них от одного до пяти талеров за каждое служение и от одного до пяти злотов за крещение и похороны. Впрочем, гонения сии не ослабили твердости веры простого народа, который по большей части не изменил своему долгу. Но честлюбивое шляхетство показало более малодушия. Дабы не преграждать себе пути к получению староств и высших государственных достоинств, господа решились принять не только унию, но даже и самую римскую веру. Не согласуясь с соотечественниками своими в статье столь важной, какова есть религия, им неминуемо предстояло уже совершенное отчуждение от родины, что они и исполнили, заменив в общежитии своем русский язык польским. Таким образом, коренные русские вельможи, из коих многие происходили от племени Рюрика, к

стыду своему, сделались настоящими поляками и способствовали им в угнетении своих единокровных.

Иезуиты не одну Малороссию готовились одарить своим лжеверием. Они хорошо чувствовали, что нельзя было Восточной церкви нанести сильнее удара, как отторжением от нее великороссийских епархий. С некоторых лет помышления их были устремлены на сей предмет, и одно время они питались надеждой успеть в сем важном предприятии. В 1581 году царь Иван Васильевич Грозный, желая окончания пагубной для него войны со Стефаном Баторием, королем польским, прибегнул к посредничеству папы Григория XIII, который послал иезуита Антония Поссевино для примирения воюющих государей. Поссевино возмечтал, что может воспользоваться сим случаем для присоединения России к римской церкви. К живейшему удовольствию его, намеки его на сей счет были принимаемы Иоанном без гнева и даже с некоторым доброхотством. Но грозный царь перехитрил самого лукавого иезуита. Пока имел нужду в Поссевино, то Иоанн оказывал податливость к его учению; но когда, отчасти стараниями его, мир подписан был между Россией и Польшей, то царь с презрением отвергнул дальнейшие домогательства его о вере. Оскорбленные иезуиты выжидали с нетерпением удобного времени для возобновления стараний своих с лучшим успехом. Когда же они известились о замыслах мнимого Димитрия, то, со свойственной им сметливостью, исчислив все выгоды, которые из оных извлечь могли, вознамерились всеми силами помогать ему. Самое самозванство его было для них полезным обстоятельством. Имея дело с природным русским царевичем, не так бы легко было им уговорить его пожертвовать правоверием в уважении обещанных ими пособий; но нельзя было ожидать такой совестливости от тщеславного бродяги, уже покушавшегося на злое дело.

Все сведения, получаемые иезуитами из России, согласовались в том, что государство находится в большом волнении от претерпенных бедствий и что множество людей из ненависти к царю Борису ожидали только удобного случая к восстанию против него. Имея в виду не упустить столь благоприятных обстоятельств, иезуиты положили приступить к делу без дальнейшего отлагательства. Вероятно, по наущению их Отрепьев вошел в услужение к князю Адаму Вишневецкому, вельможе знатному, но слабоумному и легковверному. В бытность его у князя в доме, в Брагине, он притворился опасно больным и, призвав духовника, сказал ему: «По смерти моей погреби меня честно, яко же царских детей погребают; а сея тебе тайны не скажу, а есть тому всему у меня письмо вскрытое под моею постелею, и как отыду к Богу, и ты сие письмо возьми и прочти его себе втайне, никому же о том не возвести. Бог уже мне так судил»⁵¹. Священник немедленно передал слова сии князю, который сам пришел к слуге своему и, несмотря на притворное сопротивление его, вынул из-под постели положенную Отрепьевым бумагу, в коей он, называя себя царевичем Димитрием, рассказывал нелепо сплетенную им басню о спасении своем в Угличе, где старанием жившего при нем иностранного медика по имени Симеон убит вместо него ровесник его, мальчик – поповский сын, как будто целый город Углич, где все хорошо знали царевича, мог быть приведен в заблуждение в отношении к телу, четыре дня лежавшему в церкви, куда допускали всякого звания людей!⁵² Далее Отрепьев утверждал, что медик, скрыв его, отдал на воспитание боярскому сыну, которого не называл и который присоветовал ему искать убежища между иноками, а что потом его выпроводили в Польшу некоторые верные бояре и дьяки Щелкаловы. Вишневецкий слепо поверил нескладной брехне. Тогда Отрепьев, как будто убежденный в невозможности долее скрывать свое происхождение, показал князю носимый им на груди золотой крест, драгоценными камнями украшенный, который, как уверял, был дан ему отцом его крестным, князем Иваном Федоровичем Мстиславским⁵³. Крест сей, вероятно, где-либо украденный или полученный от иезуитов, довершил ослепление Вишневецкого, который стал честить прежнего слугу своего как истинного царевича.

Князь Адам познакомил его с братом своим родным, князем Константином, который назвал его в имение свое Жалосце. Туда же явился первый лжесвидетель подлинности царевича: то был слуга сына боярского Михнова и назывался Петрушей. В 1601 году Михнов, отъезжая в Вильну при посольстве боярина Салтыкова, взял его с собой; но он, обокрав его, бежал и нашел убежище в доме канцлера литовского, Льва Сапегы, где исправлял самые низкие должности, называя себя Юрием Петровским⁵⁴. Сей негодяй уверял, что, служа прежде в Угличе (где в самом деле никогда не бывал), знает хорошо царевича, и просил, чтобы ему показали его. Когда же исполнили желание его, то он, указав на одинаковые приметы, которые Отрепьев имел с царевичем, объявил, что видит в нем истинного Димитрия.

Такого же рода смеходостойное представление готовилось еще в другом месте. Князь Константин повез Отрепьева в Самбор, к тестю своему Юрию Мнишеку, воеводе Сандомирскому, между холопами коего находился слуга, взятый русскими под Псковом и живший несколько лет в плену в Москве. Сей человек уверял, что видал тогда царевича в младенчестве и что он точно походил на того, который теперь назывался его именем. Как будто можно было распознать черты двух- или трехлетнего ребенка на лице юноши двадцати одного года?

Несмотря на нелепость сих свидетельств, данных, впрочем, лицами, ни малейшего доверия не заслуживающими, князь Константин Вишневецкий и Юрий Мнишек не устыдились выдавать их за несомненные доказательства подлинности мнимого Димитрия. В особенности старец Мнишек горячо заступался за самозванца, будучи привлечен к нему ожиданием важных выгод и почестей для собственного семейства своего. У него была дочь Марина, юная, прелестная девица. Отрепьев или действительно влюбился в нее, или почел нужным казаться страстным, дабы привязать к судьбе своей одну из знатнейших польских фамилий. Мнишек с живейшим удовольствием мечтал о возможности видеть дочь свою на московском престоле, а Марина, не менее отца своего преданная гордости и честолюбию, старалась также выказывать склонность к мнимому Димитрию.

Между тем иезуиты ревностно действовали в пользу Отрепьева в Кракове, при дворе послушника своего, короля Сигизмунда. Первым старанием их было доставить самозванцу покровительство папского нунция Рангони, который сначала хоть и показывал вид, что не желает мешаться в такое темное дело, но, наконец, будто убежденный сильными доводами, решился принять участие в несчастном жребии царственного изгнанника⁵⁵. Тогда иезуиты стали заодно с папским нунцием внушать королю, сколько славно, выгодно и даже душевспасительно будет для него видеть на московском престоле государя, который, обязанный ему своим величием, доставит Польше прочный союз с Россией и который, оказывая готовность к принятию римской веры, подает великую надежду к обращению в папечество многочисленных подданных своих. Сигизмунд, со свойственным узкоумию упрямством, не переставал преклонять ухо к советам иезуитов, хотя таковые уже стоили ему наследственного его государства, Швеции, которая, встревоженная им по предмету исповедуемой ею лютеранской веры, отложила от него и признала королем своим дядю его родного Карла IX. Король польский позволил уверить себя, что воцарение мнимого Димитрия подаст ему способ общими силами Польши и России снова возложить на главу свою утраченный венец Вазы. Под влиянием сих лестных мечтаний Сигизмунд приказал Мнишеку и Вишневецкому представить пред себя самозванца.

В начале 1604 года Отрепьев прибыл в Краков, где нунций, посетив его, объявил ему, что, если желает королевской помощи в отыскании справедливых прав своих, то предварительно должен отречься от греческой веры, принять римскую и вручить себя покровительству папского престола. Самозванец с умилением обещал все сие исполнить, что через несколько дней в доме у нунция не только подтвердил на словах в присутствии многих знатных особ, но даже дал в том письменное обязательство. После сего Рангони угощал его пышным обедом, по окончании коего отвез к королю на аудиенцию. Сигизмунд принял Лжедимитрия, стоя опершись на столик, и с обыкновенной своей величавостью подал ему руку. Отрепьев, поцеловав

оную, рассказал ему вымышленную историю свою и просил у него защиты и помощи. Тогда коронный обер-камергер дал знак ему и всем присутствующим на аудиенции выйти в другую комнату. Только нунций остался наедине с королем, который советовался с ним, как отвечать. Потом снова призвали самозванца. Сей вошел со смиренным видом и, положив руку на сердце, более вздохами, чем словами старался снискать королевскую милость. Сигизмунд с веселым видом, приподняв шляпу, сказал ему: «Да спасет вас Бог, Димитрий, князь Московский! Мы признаем вас в сем высоком звании, убеждаясь всем слышанным нами и представленными нам письменными доводами, и в знак нашего доброжелательства назначаем вам на ваши потребности ежегодно сорок тысяч злотых (то же нынешних серебряных рублей); кроме того, как приятелю, принятому под наше покровительство, позволяем вам сноситься с панами нашими и получать от них все вспоможение и заступление, какое только можете желать». Смущенный радостью, Отрепьев не нашел слов, чтобы выразить свою признательность. Нунций за него благодарил короля и отвез его обратно в дом к сандомирскому воеводе, где, обнимая его, советовал ему приняться за дело как можно скорее и в особенности напоминал ему, что из благодарности за оказанные ему милости он должен спешить принять римскую веру и водворить как оную, так и иезуитов не только в государстве своем, но даже сколь возможно будет в дальнейших странах Востока.

Таким образом, совершилось публичное признание самозванца за истинного царевича при дворе польском; событие важное для наглого бродяги, ибо подавало ему неожиданные средства к достижению своих дотоле несбыточных предначертаний. В пылу своей признательности к иезуитам он решился без дальнейшего отлагательства принять их веру⁵⁶; но условились не оглашать сего до удобнейшего случая, дабы преждевременно не вооружить против него русского народа, свято привязанного к старинному исповеданию своему. Отрепьев, закрывая лицо и передевшись в нищенское платье, пришел в сопровождении одного польского вельможи в дом краковских иезуитов. Там он отрекся от Восточной церкви, исповедовался иезуиту и принял причастие из рук папского нунция, который также совершил над ним миропомазание. Потом самозванец, не преставая следовать советам нунция, собственноручным письмом просил покровительства папы Климента VIII, который не замедлил ему отвечать весьма милостиво⁵⁷.

Король Сигизмунд, хотя на публичной аудиенции и не обещал расстриге сам помогать ему силой оружия, но, подстрекаемый иезуитами, он питал тайное желание принять деятельное участие в замышляемом Отрепьевым походе против Бориса. К исполнению сего представлялись большие препятствия. Государь польский, не будучи самодержавным, не мог без одобрения народного сейма открыть войну с соседом, не подавшим к тому важного повода. С другой стороны, Сигизмунд опасался, что сейм не согласится на разорвание недавно заключенного двадцатилетнего перемирия с Россией и не захочет восстановить против Польши нового сильного врага, когда поляки не могли еще управиться со шведами, силившимися отнять у них Лифляндию. В сих обстоятельствах король вознамерился попытаться убедить главнейших вельмож своих в том, что важные государственные причины не позволяют предложить на разрешение сейма, воевать или нет с Россией, и что несомненные выгоды республики польской требуют выступить немедленно в поход против царя Бориса.

Знаменитейшим вельможей в Польше был тогда старец Замойский, канцлер и великий гетман коронный. Король написал ему, что, если республика доставит царский венец Димитрию, то найдет в нем надежного союзника на случай войны с турками; что, с другой стороны, представится возможность не только очистить Лифляндию, но даже восстановить власть королевскую в Швеции, потому что те же войска, которые будут употреблены для препровождения Димитрия до Москвы, могут быть оттуда устремлены на Лифляндию и Финляндию; что, кроме того, откроется для Польши обширный торг не только с Россией, но через нее и с Грузией, и Персией, и что во всяком случае нельзя было доставить лучшей рыцарской забавы пылкой

беспокойной молодежи польской⁵⁸. Впрочем, Сигизмунд изъявлял желание, чтобы совещания о великом деле сем производились втайне, между Замойским и архиепископом Гнезнимским Тарновским, без доклада сейму, потому что слишком часто на сих народных съездах выгоднейшие для Речи Посполитой предложения бывали отвергнуты единственно по недоброжелательству частных лиц, и что, так как прения на сейме не могут быть производимы без огласки, то царь Борис будет предупрежден о замышляемом против него деле и, таким образом, получит возможность сильно подготовиться к борьбе призыванием на помощь к себе татар и других варварских народов. Сигизмунд худо знал Замойского, если надеялся оказываемой ему доверенностью выманить у него одобрение своих замыслов. Старый поборник шляхетских вольностей не изменил своим правилам. Он отвечал королю, что не советует ему вступать в ненадежный бой и что во всяком случае нельзя ничего предпринимать без соизволения сейма тем паче, что если действительно дойдет до войны с Россией, то усилия ограниченные и скороспешные окажутся недостаточными, а должно будет прибегнуть к мерам, соответствующим важности цели, и выставить в поле огромное войско.

Другие вельможи польские, и между прочими напольный коронный гетман Жолкевский и князь Василий Константинович Острожский, были одного мнения с Замойским. Все они представляли королю, что, имея уже дело со шведами, неосмотрительно было бы вдаваться без всякой нужды в новую войну.

Иезуиты, видя неудачу с сей стороны, стали тогда внушать Сигизмунду, что если вельможи не хотят открыто воевать против Бориса, то можно будет из-под руки вредить ему и что король имел на сие все право, потому что сам Борис действовал не иначе. В доказательство тому представляли, что, несмотря на существующее перемирие, царь пропустил через Ингрию шведские войска, посланные Карлом из Финляндии в Лифляндию, и что, кроме того, русские градоначальники во Пскове и других местах имели приказание снабжать шведов нужными для них жизненными припасами⁵⁹. Нетрудно было склонить Сигизмунда на отплату царю той же монетой. Король решился, не оглашая действия правительства, воспользоваться оказываемой охотой к войне некоторых панов литовских и многих жолнеров, остававшихся на Украине без службы, для составления рати из вольницы, которую сначала намеревался подчинить князю Збаражскому, воеводе Брацлавскому. Но, так как князь сей не скрывал убеждения своего в том, что мнимый Димитрий был самозванец, то король поручил все дело Мнишеку, позволив ему употребить на оное доходы Сandomирского воеводства. Тогда Мнишек отвез обратно расстригу в Самбор, где, как и в окрестностях Львова, начинался уже набор войска для похода в Россию⁶⁰.

По возвращении своем в Самбор Отрепьев стал открыто домогаться руки Марины. Предложения его были приняты с восторгом; однако гордый вельможа не намерен был жертвовать дочерью своей наудачу. Свадьба была отложена до утверждения Лжедмитрия на московском престоле, но между тем воевода Сandomирский взял с него запись, 13/23 мая собственной рукой его подписанную, по силе коей самозванец с щедростью, свойственной человеку, располагающему чужим добром, обещался тотчас после своего воцарения жениться на Марине и заплатить отцу ее Мнишеку миллион злотых (то же нынешних серебряных рублей), кроме того, он обязывался отдать в удел будущей супруге своей государства Новгородское и Псковское, со свободой вводить в оные исповедуемую ею римскую веру, которую и сам признавал за свою с уверением, что ничего не упустит для водворения оной и во всей России.

Но Мнишек не довольствовался устройством участи своей дочери. Встречая неожиданную податливость в нареченном зяте своем, он несколько дней спустя выманит у него уже собственно в пользу свою и в пользу государства польского новые уступки, весьма разорительные для России. Второй записью, писанной также в Самборе, 2/12 июня, самозванец отдавал будущему тестю своему княжество Северское и половину Смоленского с городом, а другую поло-

вину Смоленского княжества (вероятно, лежащую по правой стороне Днепра) и шесть городов из Северского уступал Польше. Кроме того, самозванец обещался еще по вступлении своем на престол придать Мнишеку столько городов и земель из прилегающих к Смоленскому княжеству областей, сколько нужно будет для вознаграждения за убавление в доходах княжеств Северского и Смоленского, происшедших от делаемых Польше уступок. Исполнение сих сумасбродных обязательств вовлекло бы Россию в такие жертвования, к которым самая несчастная война едва ли могла бы ее вынудить⁶¹.

Мнишек, разлакомившись выговоренной им богатой наградой, хотя и не щадил имения своего, однако собирающаяся под знаменами его шляхта не составляла значительного войска, чтобы с одной сей помощью самозванец мог поколебать престол Бориса. Главнейшие надежды его в сем предприятии основывались на сподвижниках, коих он ожидал найти в недрах самой России. Но и в сем случае поляки много благоприятствовали ему. Пограничные польские начальники всемерно старались рассеять по Северной земле подметные письма расстриги, в коих он, объявляя себя царевичем Димитрием, призывал народ к восстанию против Бориса⁶². В особенности таким образом ревностно действовал в его пользу Михайло Ратомский, староста Остерский, который не только мучил жителей Чернигова и окрестностей, но еще послал шляхтича Щастного-Свирского к донским казакам, коих склонность к самозванцу была уже известна.

Донские казаки не составляли еще сего стройного и воинственного общества, в наши времена столь усердно и храбро подвизавшегося за Россию. Тогда они только были сволочью людей бесприютных, ненавидящих всякую подчиненность и одним удалством подобившихся знаменитым потомкам своим. Промышляя единственно разбоем, они много вредили российской торговле с Грузией и Персией и даже самовольными нападениями своими на турецкие владения весьма затрудняли мирные сношения, которые российское правительство желало сохранить с Портой. Царь Борис, разгневанный их неистовствами, принялся укрощать их и тем ожесточил их против себя. Они явно отказались от всякого повиновения и с радостью встретили пронесшуюся между ними молву, что царевич Димитрий находится в живых. Дерзость их возросла до такой степени, что еще в январе 1604 года они осмелились напасть на окольного Степана Степановича Годунова, троюродного брата царя, посланного с поручением в Астрахань. Казаки разбили провожавший его конвой; Годунов сам едва успел спастись бегством. Многие из его людей были убиты, а другие взяты в плен, из коих некоторых казаки послали к царю с вестью, что они скоро придут в Москву с царевичем Димитрием.

В сих обстоятельствах весьма естественно, что шляхтич Свирский получил добрый прием от казаков. Они приговорили отправить тотчас в Польшу к Лжедимитрию атаманов своих Андрея Корелу и Михайлу Нежакожа⁶³. Сии посланные застали еще самозванца в Кракове и, увидев, что при самом королевском дворе он принимается за истинного царевича, не усомнились признать его за своего законного государя. Возвратившись же на Дон, они убедили товарищей своих готовиться к походу за Димитрия.

Уже некоторые из русских беглецов, в Польше находящихся, пристали к самозванцу и образовали первую его дружину русскую, которая была ему весьма нужна, дабы отвратить от себя нареkanie, что он с одними иноплеменными силами намеревается вступить в Россию. Но дружина сия была не многочисленна, и старания расстриги, чтобы умножить ряды оной, не всегда были успешны. Многие из русских выходцев, гнушаясь обманом, не хотели принять участия в злом деле. Между сими отличился в особенности сын боярский Яков Пыхачев и старый расстригин товарищ монах Варлаам Яцкий, которые прибыли в Краков для изобличения самозванца перед польскими вельможами⁶⁴. Но напрасно Варлаам уверял, что мнимый Димитрий есть монах Григорий Отрепьев, с коим вместе он сам бежал из Москвы в Киев. Король не хотел слушать истины, противной его желаниям, и приказал отправить обоих обвинителей к

самозванцу в Самбор. Там Варлаама заключили в темницу как непочтительного клеветника, а Пыхачева казнили под предлогом, что он подослан Борисом для умерщвления царевича.

Избавив себя, таким образом, от опасного свидетельства, расстрига не менее того весьма тревожился мыслью, что настоящее имя его сделалось известным. Для отвращения худых для него следствий, могущих произойти от сего открытия, он прибегнул к новому обману. При нем находился вышедший из Крыпецкого монастыря безродный монах Леонид, человек пьяный, но весьма преданный самозванцу, который велел ему называться Григорием Отрепьевым⁶⁵. Таким образом он надеялся отвратить от себя подозрение, что сам он был сим Отрепьевым.

Невозможно, чтобы царь Борис скоро не известился о дерзких происках самозванца, как в России, так и в Польше. В первом смущении своем он начал сам несколько сомневаться в убиении истинного Димитрия. Мать Димитриеву, царицу Марфу, привезли в Новодевичий монастырь под Москвой; царь ездил к ней с патриархом, допрашивал ее, делал повсюду точнейшие розыски и убедился, что несчастная жертва его властолюбия действительно пала за тридцать⁶⁶ лет перед тем под нанесенными ей в Угличе ударами⁶⁷. Между тем посланные в Польшу лазутчики донесли, что отважный обманщик, дерзнувший принять на себя имя царевича, был никто иной, как чудовский дьякон Григорий Отрепьев, который избежал ссылки в Соловецкий монастырь единственно по небрежению дьяка Смирного, не исполнившего царского о нем указа. Борис не хотел, однако, наказать дьяка за сие ослушание, дабы не придать важности случаю, который старался еще представлять ничтожным. Но злоба царская против ветреного чиновника не угасала. С лицемерием, противным достоинству государя, не смея карать его за настоящее преступление, он стал подыскиваться под него⁶⁸. Смирного, обвиненного в расхищении дворцовой казны, засекли до смерти.

Положение Бориса было затруднительно. Если благоразумие предписывало готовиться к отвращению угрожающей опасности, то, с другой стороны, также полезным казалось не выказывать никакого беспокойства, дабы не возвысить в глазах встревоженного народа соперника, коего дотоле можно было еще полагать достойным одного презрения. В сем недоумении царь решился ограничиться мерами двулчными. Хотя зараза в Смоленском уезде слабела, но учрежденные между Москвой и Смоленском заставы были протянуты до Брянска, дабы затруднить сообщение с Литвой. Кроме того, царь приказал окольным Петру Шереметеву и Михайле Салтыкову собрать войско под Ливнами, под предлогом полученных известий из Крыма о замышляемом нападении татар на русские пределы⁶⁹. Выбор Ливен для сборного места войска был действительно удачен, ибо оттуда легко было обратить оное или на Дон против казаков, или к Днепру против Польши.

Но царь еще надеялся, не обнажая меча, одной силой истины победить расстригу, разуверив его приверженцев. Для сего он отправил к донским казакам дворянина Хрущева, а боярам своим приказал послать к польским вельможам расстригина дядю родного, Смирного-Отрепьева, для избличения племянника в присутствии их⁷⁰. Посылки сии не имели и не могли иметь успеха, потому что ополчающиеся на Россию злодеи искали не истины, а одной собственной выгоды. Польские вельможи не хотели показать Смирному-Отрепьеву самозванца, отзываясь, что им до него не было никакого дела и что они ему ни в чем помогать не намерены. Хрущева поручение кончилось еще хуже. Казаки схватили его и окованного отправили к самозванцу. Устрашенный Хрущев изменил своему долгу. Представленный Лжедимитрию, он повергся к стопам его, уверяя, что по сходству его с царем Иоанном Васильевичем узнает в нем истинного государя своего. Расстрига с любопытством расспрашивал его о расположении умов в России и о намерениях царя Бориса. Хрущев в ответах своих старался единственно угодить самозванцу и говорил много долженствующих ему нравиться небылиц.

Король Сигизмунд, сам не смея воевать против царя Бориса, однако, возбуждал против него новых врагов. Посылая в Крым гонца Черкашенина, он писал с ним к хану Казы-Гирею,

что царевич Димитрий готовится вступить в Россию для поддержания законных прав своих и что полякам приятно будет, если татары станут помогать ему в сем предприятии.

Между тем жители окрестностей Львова и Самбора терпели большие притеснения и обиды от развратной шляхты, собравшейся под хоругвью Лжедимитрия⁷¹. Все желали как можно скорее избавиться от нее. Но набор производился медленно, хотя Мнишек и не щадил денег. Самозванец, в нетерпении своем, решился не дожидаться, чтобы все ополчение было готово, и пятнадцатого августа 1604 года выехал из Самбора в сопровождении двух иезуитов, Николая Черниковского и Андрея Лавицкого⁷². Расстрига тридцатого числа того же месяца прибыл в Глиняны, где назначен был смотр войску. Оно состояло только из пятисот человек пехоты и тысячи ста всадников⁷³, разделенных на пять хоругвей, а именно: царскую, пана Мнишека, старосты Саноцкого⁷⁴, пана Дворжицкого, пана Фредро и пана Неборского⁷⁵. Хотя король и поручил все дело старому Мнишеку, но необузданная вольность гордой шляхты требовала ее согласия на избрание начальника. На собранной в Глинянах коле (сходке) воевода Сандомирский был провозглашен гетманом войска, а под ним назначены два полковника, паны Жулицкий и Дворжицкий⁷⁶.

Третьего сентября войско двинулось из Глинян по направлению к Киеву. Много других шляхетских хоругвей, не dokonчивших еще своего образования, получили приказание, по совершенном изготовлении, следовать тем же путем и спешить соединением с прочими товарищами своими. Приближаясь к Киеву, самозванец и Мнишек были встревожены появлением войска князя Острожского, из нескольких тысяч человек состоящего. Зная, сколь князь сей желал сохранения мира между Польшей и Россией, они опасались нападения его и почли нужным принять меры чрезвычайной осторожности. Воины их проводили ночи без огня и держали лошадей своих оседланными. Но Острожский не имел намерения вооруженной рукой действовать против людей, коих предприятие, хотя им не одобряемое, было тайно покровительствуемо самим государем его. Он имел только в виду охранение жителей Киевского воеводства от грабительских самозванцевых сподвижников и для того приказал войску своему довольствоваться наблюдением за ними во время следования их до Днепра.

Расстрига, прибывший в Киев седьмого октября, встретил тут неожиданное препятствие. По повелению Острожского все перевозки на Днепре были сняты. Несколько дней прошло в отыскивании паромов, и только тринадцатого числа совершилась переправа в четырнадцати верстах выше Киева, близ устья Десны. Уже самозванец был обрадован прибытием первого подкрепления из России, состоящего из двух тысяч казаков, приведенных с Дона Свирским⁷⁷. Таким образом, в войске, с коим он готовился переступить за границу, считалось до четырех тысяч человек.

Переправясь за Днепр, расстрига начал действовать решительно. Шестнадцатого октября он перешел за русский рубеж и стал лагерем за Сваромьем, а семнадцатого за Жукиным⁷⁸. Вступление его в пределы России несказанно возмутило строптивый народ Северной земли. Везде чернь, ненавидевшая Бориса, радостно принимала самозванца с хлебом и солью. Первым русским укрепленным местом был в сей стороне замок Муромск. Еще Отрепьев стоял в тридцати верстах от него, как уже тамошние жители прислали ему сказать, что покоряются его власти. Расстрига спешил воспользоваться их добрым расположением и девятнадцатого числа, выступив из-под Жукина, остановился при Полчове, десять верст не доходя до замка. Тут муромляне представили ему связанных воевод своих, Бориса Лодыгина и Елизария Безобразова. Самозванец почел нужным ознаменовать милосердием первые царские действия свои. Не вменяя в вину воеводам верность их к Борису, он единственно жалел об их заблуждении и приказал освободить их⁷⁹. Двадцать первого числа Отрепьев вступил в Муромск.

Весть о вторжении врага в Россию изумила Бориса. Хитрить было уже не время. Предстояла необходимость противопоставить силу силе. Царь приказал собрать войско в Брянске, но, и тут еще или действительно не постигая важности обстоятельств, или притворяясь не верующим оной, он не хотел прибегнуть к усилиям чрезвычайным. В тогдашнее время в России ополчения были двух родов: большие, состоящие из пяти или иногда и шести полков, и второстепенные, разделявшиеся на три полка. Собиравшееся в Брянске войско было трехполковое и состояло под главным начальством боярина князя Димитрия Ивановича Шуйского, который имел при себе в Большом полку князя Михайлу Феодоровича Кашина, в Передовом были Иван Иванович Годунов и князь Михайло Самсонович Туренин, а в Сторожевом боярин Михайло Глебович Салтыков и князь Феодор Звенигородский. Кроме того, посланы знатные чиновники в пограничные города; в Путивль: Михайло Михайлович Салтыков, да с ним осадный воевода князь Василий Михайлович Мосальский-Рубец; в Чернигов: боярин князь Никита Романович Трубецкой, окольный Петр Феодорович Басманов и голова Андрей Воейков; но сии три чиновника уже не могли достигнуть своего назначения.

Самозванец не терял времени. Оставив в Муромске малый отряд для охранения замка, он двадцать второго октября двинулся вдоль правого берега Десны и двадцать пятого стоял уже лагерем в семи верстах от Чернигова, а двухтысячный казацкий отряд, составлявший его передовую дружину, подступил под самый город, достаточно снабженный пушками и имевший крепкий замок. Жители сначала хотели защищаться и убили многих казаков, пытавшихся войти силой⁸⁰. Но когда узнали, что Муромск сдался добровольно, то и они положили не противиться царевичу. Напрасно начальствующий в городе князь Иван Андреевич Татев надеялся еще удержаться в замке с бывшими при нем тремя сотнями стрельцами и двадцатью орудиями. Чернь, пригласив на помощь казаков, соединенными силами хлынула к замку. Тогда стрельцы, увлеченные общим примером, отворили ворота и выдали воеводу своего. Татев оказался столь же малодушным, сколь и Хрущев; он вошел в службу к самозванцу и сделался вернейшим из его клевретов. Впрочем, черниговцы получили достойное наказание за свою шаткость. Впущенные ими казаки грабили город, как будто взяли оный приступом. Извещенный о том расстрига немедленно послал к казакам двух польских панов для прекращения беспорядков, могущих охладить наклонность к нему обывателей других городов. Но паны сии уже нашли все разграбленным. Самозванец, сам прибывший на другой день в Чернигов, приказал возвратить похищенное, однако казаки успели скрыть часть своей добычи, и хозяева не все утраченное получили обратное.

Расстрига остановился в Чернигове, чтобы дать отдохновение своему войску, в коем оказывался некоторый ропот. В особенности шляхта жаловалась, что за неимением денег обносилась и нуждается в продовольствии. К счастью самозванца, в замке нашлось в сборе три тысячи рублей (десять тысяч нынешних серебряных). Он раздал их полякам.

После восьмидневного отдыха Отрепьев выступил опять в поход по направлению к Новгород-Северскому. Передовые казаки под начальством поляка Бучинского явились под сим городом девятого ноября. Но тут встретили мятежники первое важное сопротивление. Князь Трубецкой, Басманов и Воейков, отправленные царем в Чернигов, не могли опередить там самозванца и решились защищать Новгород-Северский. Хотя боярин Трубецкой был гораздо чиновнее окольного Басманова, но последний заправлял всем. В смутное время часто истинное достоинство берет верх, и обыкновенные люди охотно уступают искуснейшим власть и ответственность. Басманов отличался столько же честолюбием, сколько и храбростью, твердостью и знанием ратного дела. Он, предупреждая измену обывателей, ввел их всех в замок, сам заперся в оном с бывшими при нем шестью сотнями стрельцов, а город велел выжечь.

Казаки, принятые пальбой из замка, остановились, а Бучинский с малой свитой подъехал к стене для начала переговоров, к коим русские, кидая шапки свои вверх, казалось, приглашали его. Басманов сам находился на стене и спросил его, чего он требует. Поляк объяснился

таким образом: «Я прислан моим всемилостивейшим государем, сыном блаженной памяти великого князя Иоанна Васильевича, Димитрием Иоанновичем. Небесный промысел сохранил его от смерти, приготовленной в Угличе изменником Борисом: он здравствует и чрез меня, слугу своего, объявляет, что если вы, подобно жителям Чернигова и Муромска, покоритесь ему и ударите челом, как законному государю, то будете помилованы; если же не согласитесь на сие, то знайте, что всех вас предаст он смерти, и мужей и жен, и старых и малых; самым младенцам в матерней утробе не будет пощады». Басманов отвечал: «Государь наш и великий князь Борис теперь в Москве: он повелитель всей России! Тот же, о ком говоришь ты, есть изменник и негодяй; скоро он будет на коле со всеми его клеветами! Спешу удалиться туда, откуда пришел ты, если хочешь остаться в живых». Сия речь мало понравилась Бучинскому, который, расположив отряд свой на горе, куда русские пули не достигали, спешил сам известить самозванца, что тут одной лестью успеть нельзя.

Расстрига сам подступил под замок одиннадцатого числа и, расположившись на пепелище города, послал нескольких польских панов и муромских русских уговаривать к сдаче осажденных, но Басманов не хотел вступать в дальнейшие переговоры и приказал стрелять по посланным.

Видя его упорство, самозванец приступил к формальной осаде, хотя не имел при себе достаточного снаряда для этого предприятия. Стали копать траншеи и плести туры, за коими выставили восемь небольших полевых пушек и шесть фальконетов. Поляки, под покровительством почти ничтожной пальбы из сих батарей, вздумали четырнадцатого числа идти на приступ. Гусары их⁸¹ подступили к замку, и охотники из них, слезши с лошадей, двукратно бросались к стене. Осажденные отстреливались так удачно, что неприятель оба раза был отражен с уроном. Не смея более действовать открыто, поляки сделали деревянные срубы, которые, поставив на сани, в ночи с семнадцатого на восемнадцатое двинули к замку, а сами тихо шли позади, заслоняясь оными. За гусарами следовали еще триста человек с соломой и хворостом, чем должны они были завалить ров замка и потом поджечь сии припасы в надежде пожаром одолеть осажденных. Таким образом поляки безвредно подошли ко рву, но тут встретили столь мужественное сопротивление со стороны верных воинов, Басмановым одушевленных, что предприятие их не имело успеха. Тщетно в ярости своей продолжали они штурм всю ночь. Решительно отбитые, они вынуждены были наконец отступить с немалой потерей.

Неудача сия повергла Лжедмитрия в чрезмерную горесть. Сопротивление ничтожной крепости, каковой был Новгород-Северский, казалось ему разрушением всех мечтаний его. В порыве досады своей он укорял поляков и говорил, что не находил в них ожидаемого им удачества. Обидевшиеся поляки отвечали, что штурмовать город, не сделавши прежде пролома в стене, было делом сумасбродным. Обоюдные неудовольствия возросли до такой степени, что шляхта хотела уже возвратиться в Польшу. К счастью расстриги, чрезвычайно благоприятные для него известия, полученные им в то самое время, когда он сам начал предаваться отчаянию, ободрили всех приверженцев его и побудили их не оставлять начатого предприятия.

Пламень бунта быстро распространялся по всей полуденной России. Самозванцевы лазутчики, коим способствовала очевидная склонность к нему простого народа, проникали повсюду и рассеивали манифесты его, в коих он, оглашая себя царевичем Димитрием, чудесным промыслом Всевышнего спасенным от удара, изготовляемого ему Годуновым, напоминал присягу, данную отцу его, царю Иоанну, и увещевал всех отстать от злодея Бориса и покориться его законной власти⁸². Чернь с умилением слушала сии манифесты и с радостью отказывалась от послушания ненавистному ей Борису. Одни чиновные люди сохраняли еще некоторую пристойность. Правда, многие из них, выданные самозванцу, служили уже ему, но вину их можно еще было приписать страху и принуждению. Первым добровольным изменником оказался один из потомков Рюриковых, князь Василий Михайлович Мосальский-Рубец⁸³. Начальствуя во-

вторых⁸⁴ в Путивле, он, вместо того, чтобы обуздывать жителей и воинов, сам возмутил их, связал главного начальника Михайлу Михайловича Салтыкова и присягнул расстриге со всеми людьми своими, кроме двухсот московских стрельцов, пребывавших верными, которых обезоружили, а голову и сотников их послали к самозванцу⁸⁵. Путивль, многолюдный и обнесенный каменной оградой (что означало важность места, потому что тогдашние укрепления городов российских были почти везде деревянные), считался главным городом в Северской земле. Молва о покорении одного самозванцу разнеслась с невероятной скоростью и подала повод к новым изменам. Пагубному примеру последовали Рыльск, Севск, Комарицкая волость, Борисгород, Белгород, Оскол, Валуйки, Курск, Кромы, Ливны, Елец и Воронеж, так что в южной полосе России на протяжении шестисот верст от запада к востоку все признавали расстригу за законного своего государя.

Обрадованный сим неожиданным успехом, самозванец приложил новые старания к овладению Новгородом-Северским. По повелению его привезли из Путивля пять орудий осадных и восемь полевых, кои первого декабря открыли огонь по замку⁸⁶. Почти целую неделю стрельбасия продолжалась непрерывно денно и ночью. Деревянные стены замка часто были пробиваемы, но Басманов не унывал, хотя в один день выбежало от него восемьдесят человек и хотя собранное под Брянском царское войско ничего не предпринимало для его избавления. Начальник сего войска, князь Димитрий Шуйский, в извинение своего бездействия писал в Москву, что ненадежно сразиться с Лжедмитрием без важного над ним превосходства сил и что потому он в необходимости просить подкрепления⁸⁷.

Отложение обширных областей, робость высланного против врагов войска и более всего непонятное ослепление народа, везде и даже в самой Москве оказывающего несомненную склонность к самозванцу, наконец убедили Бориса в действительности угрожающей ему беды. Видя неуместность дальнейшего выказывания притворной самонадеянности, он решился употребить на уничтожение злодея все еще весьма сильные средства, коими мог располагать самодержец российский. Князь Федор Иванович Мстиславский получил приказание собрать новое войско в Калуге, и вместе с тем обнародовано общее земское ополчение, от коего не избавлялись даже имения духовенства, как и прочие, по мере имевшейся во владении земли⁸⁸. Сими ратными приготовлениями не ограничилось правительство. Царь и патриарх во всех храмах и на всех торгах приказывали провозглашать церковное проклятие над Отрепьевым, как над злым еретиком, тщившимся похитить царство Московское, истребить православную христианскую веру и ввести проклятую папешскую. В Москве князь Василий Иванович Шуйский на лобном месте торжественно уверял народ, что, будучи главным лицом следственного наряда о убийстве Димитрия, он сам хоронил его тело и потому лучше всех может свидетельствовать, что действительно в Угличе убит был никто иной, как сам царевич. Но речи сии и подобные же речи патриарха и других бояр делали мало впечатления над предубежденными слушателями, которые промеж себя толковали, что так говорили им по наущению Бориса, которому ничего иного и не оставалось, как скрывать истину.

Царь среди всех окружающих его опасностей сохранял еще пристойную величавость в отношении иностранных держав. Карл IX, король шведский, естественный враг Польши, вызвался прислать ему вспомогательное войско, но Борис отвечал, что Россия при царе Иоанне, в одно время воевавшая с турками, татарами, поляками и шведами, сама управится со своим злодеем. Впрочем, царь, сам не желая помощи от иностранцев, также искал отнять оную и у самозванца. В сем намерении он послал к королю Сигизмунду дворянина Огарева с грамотой, в коей, описывая все происхождение Отрепьева, доказывал его самозванство, прибавляя, что если бы даже и действительно он был Димитрием, то и тут не имел бы никакого права на престол, ибо царевич, рожденный от седьмого брака, церковью не признаваемого, не мог почитаться законным наследником⁸⁹. Огарев имел поручение жаловаться на помощь,

даваемую поляками расстриге, на побуждение татар против России, на возмущение казаков литвином Свирским и на занятие князем Вишневецким, вопреки перемирию, городища Прилуки, которое Россия считала своей собственностью. В заключение он должен был требовать решительного ответа: чего желает Польша, войны или мира с Россией? Встревоженный сей настойчивостью, Сигизмунд прибегнул к лицемерным уверениям, что хочет свято соблюдать перемирие и что если некоторые поляки, во зло употребляя дарованные им законами вольности, в чем-либо нарушили постановления сего перемирия, то будут строго наказаны.

Духовенство российское, со своей стороны, всячески старалось предостеречь от обмана духовенство польское. Патриарх, митрополит и все архиепископы и епископы послали к оному гонца Бунакова с грамотой, где все они священным словом своим изобличали Отрепьева в самозванстве⁹⁰. Кроме того, патриарх послал от себя в Киев гонца Пальчикова с письмом к князю Острожскому, коего он увещевал приказать поймать расстригу и прислать его в Москву. Но совершившиеся события упредили ответы на оба сии послания. Участь государства уже зависела от успеха войны.

Князь Мстиславский, собрав наскоро несколько войска в Калуге, повел оное в Брянск на соединение с войском князя Дмитрия Шуйского; совокупные силы сии составили сорокатысячное ополчение, разделенное на пять полков. Мстиславский принял главное начальство, имея при себе во-вторых в большом полку князя Андрея Андреевича Телятевского; в других полках начальствовали: в правой руке князь Дмитрий Иванович Шуйский и князь Михайло Феодорович Кашин; в левой руке Василий Петрович Морозов и князь Лука Осипович Щербатов; в передовом князь Василий Васильевич Голицын и Михайло Глебович Салтыков; наконец, в сторожевом Иван Иванович Годунов и князь Михайло Самсонович Туренин. Мстиславский выступил немедленно на выручку Новгорода-Северского и на пути, достигнув Трубчевска, писал воеводе Сandomирскому, требуя, чтобы он немедленно оставил самозванца и вышел с поляками своими из России, не имеющей брани с Польшей⁹¹. Но Мнишек не отвечал, ибо еще надеялся на счастье нареченного зятя своего.

Восемнадцатого декабря российское войско достигло реки Узруя, в восьми верстах от Новгорода-Северского, и переправилось через сию реку, несмотря на сопротивление самозванцевой передовой стражи, которая вынужденной нашлась отступить до его лагеря.

Хотя Лжедмитрий и был уже подкреплён прибытием из Польши последних там образующихся шляхетских рот и вступлением к нему в службу многих бродяг северских, однако со всем тем нельзя полагать, чтобы он имел при себе более пятнадцати тысяч человек, из коих третья часть поляков, и, следственно, силы его казались весьма недостаточными, чтобы противиться наступающему на него сорокатысячному неприятелю. Но он хорошо постиг, что от одной слепой отваги должен был ожидать удачи в чудном предприятии своем, и потому вознамерился, несмотря на чрезвычайное неравенство сил, вступить в сражение, надеясь, впрочем, что измена подавшихся к нему городов будет иметь влияние и на самих воинов Мстиславского и что они неохотно поднимут оружие против того, которого обширная часть России признавала уже за истинного государя своего.

Вследствие сей решимости двадцатого декабря он вывел войско свое из лагеря на обширную равнину, где стоял Мстиславский. День провели в маловажных стычках и бесполезных переговорах. Только Басманов частыми вылазками тревожил тыл самозванца, который для удержания его вынужден был отрядить несколько сот казаков⁹².

Мстиславский двадцать первого числа подступил к неприятельскому лагерю. Лжедмитрий опять смело вышел ему навстречу и, готовясь к бою, почел нужным воспламенить усердие своих сподвижников плодотворной речью, в коей дерзал призывать царя Бориса к суду Божию. Хотя измены, на которую рассчитывал самозванец, и не оказалось, однако недоумение разливалось в рядах царских воинов и приводило их в такое оцепенение, что сражение продолжа-

лось недолго. Правда, москвитяне отразили первое нападение польской конницы, но сия искра храбрости скоро угасла⁹³. Правое царское крыло не выдержало нового натиска свежих польских хоругвей и опрокинулось на большой полк; сей также дрогнул, несмотря на благородные усилия главного вождя, князя Мстиславского, который не щадил себя и, отягченный многими ранами, пал с коня; подоспевшая к нему на помощь дружина стрельцов едва успела спасти его от плена. В то же время польская пехота вытиснула других царских стрельцов из занимаемой ими ложины. По свидетельству очевидца «казалось, что у россиян не было рук для сечи», и Лжедмитрий, вероятно, одержал бы победу совершенную, если бы в решительную минуту пустил в дело запасные войска свои, но по неопытности он не сделал сего и, таким образом, дал возможность царским воеводам после двух- или трехчасового боя отступить хотя и не без урона, но, по крайней мере, с сохранением состава войска. Самозванец преследовал их на пространстве девяти верст. Сие постыдное дело стоило русским до четырех тысяч человек убитых; поляков пало только сто двадцать⁹⁴.

Впрочем, одержанная самозванцем победа несколько не была решительной, а полууспеха недостаточно было, чтобы улучшить его положение. Царская армия отошла недалеко и оставалась в четырнадцати верстах от места сражения, в лесу, где прикрывалась окопами и засеками. Лжедмитрий не смел, так сказать, под ее глазами продолжать осаду Новгорода-Северского, несмотря на ожидаемое им сильное подкрепление. Старые товарищи его, запорожцы, привлеченные надеждой богатой добычи, шли к нему на помощь в числе двенадцати тысяч человек, из коих четыре тысячи пеших прибыли в стан его на другой день сражения. Прочие восемь тысяч конных, с четырнадцатью пушками, также находились уже в близком расстоянии. Но если, таким образом, число расстригина войска значительно увеличивалось, с другой стороны, настоящая сила онога ослабевала, потому что поляки, составлявшие лучшую его дружину, отказывались долее служить ему. Иноземцы сии, из одной корысти принявшие его сторону, роптали на предстоящие им труды и неотступно требовали обещанного им жалованья. Лжедмитриева казна недостаточна была для удовлетворения их. В сих трудных обстоятельствах самозванец решился дать отдохновение войску своему на зимних квартирах, в изобильной съестными припасами Комарицкой волости. В сем намерении второго января 1605 года он оставил Новгород-Северский и, переправившись через Десну, направился на Севск.

Между тем неудовольствие поляков возрастало ежедневно, и уже на втором переходе от Новгорода-Северского они оказывали мало охоты углубляться далее в Россию. Тогда товарищи хоругви пана Фредро, кричавшие более всех прочих, велели тайно сказать самозванцу, что если он одним им даст жалованье, то они останутся в его службе, и что, глядя на них, и другие хоругви не покинут его. Расстрига, к несчастью своему, поверил им, но, хотя раздача им денег была сделана негласно и в ночное время, другие хоругви узнали об оной, и тогда возмущение сделалось всеобщим. Напрасно самозванец скакал из хоругви в хоругвь, увещевая недовольных повременить еще возвращением в Польшу. Его не слушали, и буйство дошло до такой степени, что поляки сорвали с него соболью шубу и что один из них осмелился даже сказать ему: «Ей-ей, быть тебе на столбе». Разгневанный Лжедмитрий наказал его пощечиной, но шубу свою не иначе получил обратно, как после того, как русские его приверженцы выкупили оную за триста злотых (то же нынешних серебряных рублей). Бунт окончился тем, что старый Мнишек, который был тогда болен, вынужден был обещать сам вести обратно в Польшу соотечественников своих. Таким образом, большая часть шляхты четвертого января оставила Лжедмитрия и направилась мимо Путивля на Пыратин. При самозванце осталось всего-навсего не более тысячи пятисот поляков. Мало утешенный прибытием остальных запорожцев, он засел в Чемлинском остроге, откуда потом перешел в Севск.

Царские воеводы столь поражены были понесенной ими неудачей под Новгородом-Северским, что от стыда даже не смели донести Борису о происшедшем. Когда же самозва-

нец снял осаду Новгорода-Северского, то они сами отступили к Стародубу⁹⁵. Царь, извещенный стороной о подробностях несчастной битвы, в справедливом гневе своем послал чашника Вельяминова-Зернова укорять князя Дмитрия Шуйского и товарищей его в непростительном молчании. Но вместе с тем Борис почел благоразумным не умножать уныния в ратных людях и для того не только удержался от заслуженных ими упреков, но даже, притворяясь, будто неизвестен о малодушных их действиях, поручил Вельяминову сказать милостивое слово всему войску и засвидетельствовать признательность свою почтенному князю Мстиславскому, для излечения коего послал из Москвы доктора и аптекаря.

Храбрые защитники Новгорода-Северского также не остались без награждения. Князь Трубецкой и Басманов, призванные в Москву, были весьма честимы, а в особенности Басманов, которому царь из своих рук дал золотое блюдо весом в шесть фунтов, насыпанное червонцами, и сверх того две тысячи рублей (шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть нынешних серебряных) и много серебра из царской казны⁹⁶. Но первейшим занятием царя было поставить военные силы свои в такое положение, чтобы успех был несомненным⁹⁷. Для сего он отправил еще подкрепления к главному войску, а вместе с тем приказал Федору Ивановичу Шереметеву собирать новый запасной корпус в окрестностях Кром. Меры сии казались достаточными, но Борис беспокоился мыслью, что до выздоровления князя Мстиславского верховное начальство в главном войске находилось в руках князя Дмитрия Шуйского, уже на опыте оказавшего свою ничтожность. Впрочем, царь не хотел обидеть вельможу сего, который был ему свояком, и потому решился назначить старшего брата его родного, князя Василия Ивановича, прибыльным воеводой в большом полку, что давало ему в войске первое место после Мстиславского.

Князь Василий Иванович, в сопровождении многих стольников и стряпчих, отправился из Москвы и нашел войско близ Стародуба. Хотя оное уже простиралось до семидесяти тысяч человек⁹⁸, однако воеводы не только ничего не предпринимали, но даже как бы сами скрывались среди лесов. Новый вождь объявил им волю царскую: немедленно идти на неприятеля, и все двинулись к Севску. Узнав о приближении их, Лжедмитрий советовался с польскими и казацкими старшинами. Поляки представляли, что так как было еще более несоразмерности в силах, чем под Новгородом-Северским⁹⁹, то казалось благоразумнее уклоняться от столь неравного боя и сколь возможно медлить действиями в ожидании удобнейшего случая. Но запорожские атаман и полковники были противного мнения и предлагали смело идти навстречу царским воинам в надежде смутить их самой отвагой предприятия. Так как запорожцы составляли знатнейшую часть войска Лжедмитрия, то он почел необходимым послушаться их, к чему еще был побуждаем воспоминанием новгород-северской удачи.

Вследствие сего самозванец двинулся двадцатого января из Севска вдоль левого берега реки Севы и под вечер встретил царское войско, тесно расположенное в селе Добруне. Расстрига, хотя и решившийся на бой, искал, однако, нападением врасплох несколько вознаградить неравенство сил; в сем намерении он приказал преданным ему добруньским жителям ночью зажечь село, а сам готовился внезапно ударить на расстроенные тревогой царские войска. Но Борисовы воеводы остерегались, и зажигатели не смогли совершить своего предприятия.

Оставалось сразиться в открытом поле. На рассвете двадцать первого января царская конница выстроилась по обеим сторонам селения, сильно занятого пехотой. Князь Мстиславский, может быть, не совершенно еще исцелившийся от полученных ран, но не желавший уступить одному князю Василию Шуйскому честь победы, довольно вероятной, сел на коня и распоряжался войском. Лжедмитрий, с своей стороны предполагая нанести главные удары правому крылу царского войска, сам с палашом в руках повел на оное польские хоругви и свои русские дружины. Вместе с тем он отрядил конных запорожцев вправо, для удержания левого царского крыла, а пешим запорожцам приказал с тяжелыми орудиями остановиться за горой,

в некотором расстоянии позади действующих войск, коих они должны были служить резервом; распоряжения довольно замечательные, открывающие замысловатое намерение в случае успеха отбросить царское войско на реку Севу. Расстрига, с обыкновенной своей словоохотливостью, говорил войску речь почти одинакового содержания с произнесенной им под Новгородом-Северским, но не всегда нечестивая наглость остается без заслуженного наказания.

После небольшой стычки между передовыми отрядами открылась пушечная пальба, вслед за коей самозванец приказал полякам спуститься в лощину, прикрывающую правое царское крыло, и стараться отрезать оное от селения, в центре находящегося¹⁰⁰. Семь польских хоругвей, под предводительством гетмана Дворжицкого¹⁰¹, выстроились в один ряд и бросились вперед стремглав, будучи поддерживаемы последней восьмой хоругвью польских гусар и всей русской конницей, которой приказано было надеть сверх лат белые рубахи для различия от царских всадников¹⁰². Князь Мстиславский, не выдержав нападения, сам двинул навстречу неприятелю правое крыло свое, в голове коего находились две дружины иноземцев, под начальством лифляндца фон Розена и француза Маржерета¹⁰³. Поляки неслись с такой яростью, что иноземцы после кратковременного сопротивления были опрокинуты, а глядя на них и вся царская конница обратилась в бегство. Тогда Дворжицкий, повернув вправо, направился на селение, занимаемое царской пехотой, которая, допустив неприятеля на весьма близкое расстояние, сделала по нему залп из десяти или двенадцати тысяч ружей. Стрельба сия, хоть и не довольно меткая, чтобы много вредить полякам, привела, однако, их в большое расстройство, которое обратилось в совершенное расстройство, когда один из соотечественников их прискакал с известием, что конные запорожцы, встревоженные треском и дымом ружейной пальбы, оставили место сражения и, не быв никем теснимы, опрометью побежали по Рыльской дороге. Смущенная сей неожиданной робостью днепровских удалцов, конница польская и русских злодеев также обратила тыл и понеслась вслед за казаками, оставив на жертву запорожскую пехоту, которая немедленно была окружена и совершенно истреблена после мужественного сопротивления. Беглецы безоглядно промчались до города Рыльска, находящегося в восьмидесяти верстах от места сражения. Их преследовал шеститысячный отряд царской конницы, но только на пространстве восьми верст. Впрочем, блистательная победа сия стоила недорого: урон царского войска состоял только из пятисот россиян и двадцати пяти иностранцев¹⁰⁴.

Неприятель потерял пятнадцать знамен и штандартов, тринадцать орудий и до шести тысяч человек убитыми, кроме попавших в плен. Сам Лжедмитрий находился в величайшей опасности¹⁰⁵. Раненный в ногу конь его уже отказывался нести его; спасением своим он был обязан князю Татеву, который сопровождал его до Рыльска¹⁰⁶.

Запорожские казаки также искали убежища в Рыльске, но тамошние жители, упрекая их в измене Димитрию и в трусости, не только не согласились впустить их к себе, но даже стреляли по ним. Не лучше им сделан был прием и в Путивле, почему и решились они оставить русские пределы и возвратиться в Запорожье.

Царские воеводы отправили к Борису с донесением об одержанной победе чашника Михайлу Борисовича Шеина¹⁰⁷ и также послали в Москву пленных поляков и запорожцев. Русские изменники, попавшиеся в плен, были повешены перед войском¹⁰⁸.

Самозванец, отдохнув два дня в Рыльске, переехал в Путивль. Несмотря на легкомысленную его самонадеянность, положение, в коем он находился, казалось ему самому отчаянным¹⁰⁹. После понесенного поражения оставалась при нем только горсть людей, с коими нельзя было ему надеяться еще продолжать войну. Правда, северский народ не отставал от него и готов был еще служить ему, но за недостатком денег новые новобранцы оставались бы без оружия и без пропитания. В сей крайности Отрепьев замышлял уже, отказавшись от предприятия неудачного, тайно уйти в Польшу. Но русские приверженцы его не позволили ему исполнить

сего намерения. Участь добруньских пленников показывала им, что нельзя было им ожидать пощады от Бориса, и они решились до конца отыскивать успеха, хотя почти вовсе невероятного, но в коем находили для себя единственный залог безнаказанности. Они объявили Лжедмитрию, что не выпустят его из Путивля и что ему предстоит пить одинаковую чашу с ними и спастись или погибнуть всем вместе¹¹⁰. Даже грозили ему, если он не ободрится, выдать его царю и тем еще попытаться выслужить себе помилование. Расстрига, таким образом вынужденный продолжать свое самозванство, снова ревностно принялся за дело. Первым старанием его было удержать при себе остатки разбитого войска. Поляки готовились уже разойтись по домам. Он уговорил большую часть из них еще не покидать его, и так как они в несчастной битве переломали или побросали все копыя, то он приказал им сделать новые. Между тем он не упустил также изыскивать средства к восстановлению сил своих, как извне, так и внутри России. В сем намерении он послал князя Татеева просить у короля Сигизмунда немедленного вспоможения. Для умножения же числа своих приверженцев в России он издал новые манифесты, где несколько пространнее прежнего рассказывал вымышленную историю свою¹¹¹, но новых доказательств в подлинности оной никаких не представил, а ссылался, как и прежде, на свидетельства людей все умерших, как то: князя Ивана Мстиславского, дьяка Андрея Щелкалова и литовского канцлера Сапегу. Впрочем, нашлось много людей легковверных, которые, слепо веря нравящейся им басне, спешили в Путивль, дабы предложить услуги свои тому, кого считали несчастной жертвой властолюбия ненавистного им Бориса. В особенности расстрига утешен был возвращением к нему в Путивль четырехсот донских казаков. Неизвестно, куда они ходили из-под Новгорода-Северского, но достоверно только то, что их не было при самозванце под Добрыничами. Что же касается до посылки князя Татеева, то она не имела успеха. Король Сигизмунд, видя худой оборот дел Отрепьева, не хотел подать повод России негодовать на Польшу и отказался принять Татеева¹¹².

Между тем Шеин нашел Бориса на богомолье в Троицко-Сергиевском монастыре. Известия, привезенные им, чрезвычайно обрадовали царя, который пожаловал вестника в окольничьи и немедленно послал через любимого стольника своего, князя Мезецкого, золотые¹¹³ воеводам и десять тысяч рублей (тридцать три тысячи триста тридцать три нынешних серебряных) для раздачи войску¹¹⁴. Может быть, здравая политика требовала бы, чтобы при сем случае государь обуздал строгость, по крайней мере, преждевременную, оказываемую воеводами над русскими пленными. Должно было предвидеть, что неминуемым следствием оной будет отдалить всякую мысль покорности в сподвижниках самозванца и принудить их к отчаянному сопротивлению. Но Борис был злопамятен и жестокосерд. В упоении давно нетерпеливо ожидаемой им победы он не только дал волю воеводам, но даже требовал от них большей суровости¹¹⁵, полагая дело уже совершенно конченным и что оставалось ему только тешиться казнями тех, которые осмелились столь нагло потревожить его спокойствие.

Нет сомнения, что все могло бы быть конченным, если бы воеводы живо воспользовались поражением врага, но они действовали вяло и как будто нехотя. Царское войско подступило под Рылск на другой день выезда самозванца из сего города. Жители, воспламененные начальниками своими, князем Григорием Рощей-Долгоруким и Яковым Змиевым, злыми приверженцами расстриги, не хотели сдаваться¹¹⁶. Воеводы, решившись добывать город формальной осадой, приказали плести туры, копать траншеи и ставить батареи, из коих открыли огонь. Рыляне также сильно отстреливались и просили помощи у самозванца, который послал им пятьсот поляков и две тысячи русских. Отряд сей, пользуясь беспечностью царских воевод, успел ночью тайно пробраться в город и значительно усилил упорство осажденных. Наконец, царские воеводы после пятнадцатидневного стояния сняли осаду Рылска и, отойдя в Комарицкую волость, расположились там близ Рагодетского острога, дабы до весны дать отдохнове-

ние войску, весьма утомленному зимним походом. Оставался еще в поле только Шереметев¹¹⁷, который тотчас по получении им известия о добруньской победе собрал предводительствуемый им запасной корпус и с оным обложил город Кромь, коего жители, следуя примеру рязан, изготовились к обороне.

Обыватели Комарицкой волости изъявляли большую преданность самозванцу, когда он с войском своим стоял у них, и сей изменой, без сомнения, заслужили наказание. Но благомыслящее правительство, исполняя печальный долг – карать преступников, умеет быть строгим без лютости. Не так поступили царские воеводы. Ожесточенные претерпенной ими под Рылеском неудачей, они зверски вымещали оную над несчастными комарицкими жителями¹¹⁸. Вся волость была немилосердно опустошена; жителей мучили и убивали. Не только крестьян, но жен их и детей вешали за ноги на деревьях и потом стреляли в них из ружей, как в цель. Пишут, что таким образом погибло до нескольких тысяч душ.

Сими неистовствами, может быть, воеводы желали еще выслужиться у злобного царя. Но Борис, горестно удивленный отступлением войска от Рыльского, был вне себя от досады. Отложив благоразумие, выказанное им после несчастной новгород-северской битвы, он послал в Рагодетский острог окольного Петра Никитича Шереметева и думного дьяка Афанасия Власьева объявить свой гнев не только воеводам, но и всему войску¹¹⁹, оставляя на их ответственности бедствия, могущие произойти от их нерадения, коему обязан был расстрига своим спасением. Между тем требовал, чтобы вместо отдохновения шли немедленно под Кромь на соединение с отрядом Шереметева и совокупными силами непременно взяли сей город. Ослушаться еще не смели, но летописцы наши замечают, что вся рать оскорбилась укорным словом царя и что с тех пор многие, дотоле верные, страшась жестокой опалы, стали помышлять, как бы избыть Бориса и поддаться самозванцу.

Сосредоточение всех сил царских под Кромами составляло ополчение более чем в сто тысяч человек, против усилий коих казалось вовсе невозможным устоять ничтожному городу. Но защитники оного, в исступлении страстей, обыкновенно междоусобными раздорами возжигаемых, и не помышляли о сдаче, а готовились к отчаянному отпору. Впрочем, судя по малолюдству их, отважная решимость едва ли бы служила им спасением, если бы самозванец не поспешил прислать к ним на помощь четыре тысячи донских казаков и русских¹²⁰. В сем случае царские воеводы сделали такую же оплошность, как и под Рыльском. Вспомогательный отряд, старавшийся ночью пробраться в Кромь, был замечен, когда уже находился под стенами осажденного места, и царские войска могли только теснить хвост неприятеля и не воспрепятствовали ему войти в город.

Огорченные сей неудачей, воеводы решились не щадить город и выставили сильные батареи из пушек и мортир. Осажденные не робели и с усердием подвергались трудам и опасностям, следуя примеру начальников своих, Григория Акинфиева и донского атамана Корелы. В особенности доблестью и искусством отличался Корела, так что между современниками он прослыл чародеем¹²¹. Не надеясь на деревянную стену, составляющую единственное укрепление города, он приказал обвести оный валом со рвом, а под валом сделать землянки¹²², где осажденные находили верное убежище от навесных ударов. Сими оборонительными мерами не довольствовались казаки: они из рва прокопали несколько контр-апрошей, откуда часто выползали и тревожили батареи и траншеи осаждающих. Когда же царские дружины собирались для нанесения им сильного удара, то они уходили в норы свои, куда не смели за ними следовать царские воины.

Князь Мстиславский с товарищами, стыдясь наконец терять бесполезно людей и время под стенами маловажного города, приступили к решительному действию. Подсланные ими воины ночью зажгли деревянную городскую стену¹²³. Пожар сделался ужасный; стена сгорела, а осажденные, гонимые пламенем, покинули город и искали убежища в остроге. Царские войска

беспрепятственно засели на валу, так что город можно было почесть взятым; оставалось только покорить острог, где неприятель за теснотой места недолго бы в состоянии был держаться. По несчастью, один из воевод, Михайло Глебович Салтыков, уже выступал на позорное поприще измены, на коем должен был доставить печальную известность имени своему и навлечь на себя проклятие отечества. Без приказа главных вождей и без совета товарищей своих он свел с вала засевших там воинов и велел им отступить в траншеи, как говорят летописцы, «норовя тому окаянному Гришке». Таким образом, осажденные, погасив пожар, получили возможность выйти из острога и снова занять городской вал.

Узы подчиненности до такой степени были ослабленными в царском войске, что Мстиславский и Шуйский не подумали или не посмели наказать Салтыкова. Они даже не удалили его от себя, и злодей сохранил важное место, предоставляющее ему способы замышлять новые измены.

После сего неудачного покушения воеводы не предпринимали более ничего важного. Впрочем, несколько времени спустя войско находилось в таком печальном состоянии, что несправедливо было бы осуждать вождей в бездействии. Необыкновенная суровость поздней зимы имела пагубное влияние на здоровье царских воинов¹²⁴. Жестокий понос свирепствовал в их стане и причинял большую смертность. Царь со свойственной ему заботливостью прислал из Москвы нужные лекарства, коих спасительное действие прекратило болезнь¹²⁵.

Бесплодное стояние Борисовых воевод под Кромами умножало в народе недоверие к правительству и склонность к самозванцу. Даже в Москве громко толковали, что само Провидение видимо покровительствует Димитрию, которого одолеть не могут несметные силы, выставленные против него. Ожесточенный царь люто наказывал болтливых: многим резали языки, других даже предавали смерти¹²⁶. Суровость сия могла воздержать нескромных, но не изменяла расположения сердец, с непонятным ослеплением влекомых к Лжедмитрию. Особоливо в Северской земле все единодушно признавали расстригу за истинного царевича. Напрасно Борис пытался еще раз вразумить тамошний народ. По повелению его три монаха, знавшие Отрепьева, когда он был дьяконом, отправились в Путивль с грамотами от царя и патриарха к духовенству и обывателям, в коих увещевали схватить самозванца и с приверженцами его отправить в Москву¹²⁷. Иноки, прочитав грамоты, сами, со своей стороны, заклинали народ не верить гнусному обману, и говорили, что Лжедмитрий никто иной, как старый их товарищ Отрепьев. Расстрига велел немедленно поймать их и подвергнуть пытке. Двое, которые были помоложе, выдержали муку, но третий, уже старик, выказал малодушие. При самом начале истязания он обещал повиниться во всем и просил переговорить с самозванцем наедине. Расстрига согласился допустить его до себя, и следствием их свидания было то, что двое из окружающих Лжедмитрия сановников, оговоренные старым монахом, были выданы народу и расстреляны на площади под предлогом, что вели тайную переписку с Борисом и обещали ему отравить Лжедмитрия. Доноситель был щедро награжден, а его непреклонных товарищей заключили в темницу.

Третий месяц уже протекал после добруньской битвы, а важного перевеса не было ни на той, ни на другой стороне. Правда, дела самозванца, оправившегося после страшного поражения, видимо улучшились, и он не утратил ни одного из передавшихся ему городов, но со всем тем он не был еще в состоянии снова выступить в поле и вынужден был оставаться в Путивле в оборонительном положении. Казалось, что междоусобию суждено было длиться, как вдруг внезапное событие произвело нечаянный перелом. Ничто не предвещало близкой кончины царю Борису. Он имел от роду только 53 года, был бодр, и здоровье его казалось надежным; хотя он с давних лет и страдал подагрой, но всем известно, что сей недуг не противен долголетию. Несмотря на то, могила уже готовилась для него. Поутру тринадцатого апреля он еще занимался делами, потом обедал, но, когда встал из-за стола, то вдруг почувствовал сильную

немошь¹²⁸. Едва успели причастить его и постричь под именем Боголепа. После двухчасовых страданий он скончался. Скоропостижная смерть сия породила разные толки. Многие полагали, что царя отравили самозванцевы приверженцы; другие думали, что сам Борис, отчаиваясь одолеть Лжедмитрия, принял яд. Но можно ли допустить, чтобы Борис, нежно любивший детей своих, решился прекратить жизнь свою, не приняв никаких мер к их спасению? Нельзя также не заметить, что, когда по низвержении расстриги всенародно обвиняли его не только в действительных, но даже и в вымышленных злодеяниях, никогда, однако, не упрекали смертью Бориса, что не преминули бы сделать, если бы оставалось малейшее сомнение насчет соучастия его в отравлении царя. По сим причинам долг беспристрастного историка – держаться рассказа Маржерета, который смерть Бориса приписывает апоплексии.

Память о царе Годунове сохранилась в народе как о злом и коварном хищнике престола. Только в наше время некоторые писатели стараются оправдать его в приписываемых ему преступлениях, намекая, что летописцы несправедливо очернили его в угодность враждебной Годуновым фамилии Романовых. Но не одни летописцы наши описывают злодеяния Борисовы. Самые им нежно чтимые иноземцы, как, например, Бер, Маржерет и другие, одинаковым образом с русскими изъясняются о нем. После столь единогласного свидетельства современников противоречить оному двести лет спустя означало бы гоняться за бездоказанной новизной.

Впрочем, каков бы ни был Борис, смерть его была бедой для России, ибо предвещала торжество гнусного самозванства. Если Борису, при всей государственной опытности его, не удалось сокрушить Лжедмитрия, то можно ли было ожидать лучшего успеха от юношеской руки шестнадцатилетнего сына и преемника его, Феодора Борисовича? Напрасно новый царь, прекрасный телом и душой, отличался умом и познаниями чрезвычайными¹²⁹. Качества сии не заменяли зрелости и твердости, необходимых правителям в смутное время для обуздания волнующихся страстей. Мать Феодорова, вдовствующая царица Марья Григорьевна, коей предстояло руководствовать любезного ей сына, сама столь же мало, как и он, имела навыка в делах.

Однако в столице вступление на престол Феодора совершилось спокойно. Строптивость умов еще воздерживалась невольным уважением к установленному правительству, повиноваться коему нелегко разучиться. При сем случае с большой пользой действовал патриарх, искренне преданный дому Годуновых. Примеру и увещаниям его никто еще не смел противиться. Москва присягнула юному царю, хотя и не единодушно, но, по крайней мере, единогласно.

Но утверждение Феодора на престоле зависело не столько от согласия столицы, сколько от покорности войска, собранного под Кромами. По несчастью, царица и сын ее не доверяли знатым боярам, начальствующим над оным, и опасались, чтобы они не вздумали, воспользовавшись удобным случаем, отложиться от ненавистного для их гордости повиновения, к коему покойный царь привел их единым страхом своего могущества. Положили отозвать князя Мстиславского и обоих Шуйских под благовидным предлогом, что юному царю необходимо окружить себя советниками мудрыми¹³⁰. На место Мстиславского назначили главным начальником боярина князя Михаила Петровича Катырева-Ростовского, мужа честного, но не дальновидного, коему для совета и руководства придали в качестве второго воеводы большого полка Басманова, уже на деле оказавшего себя вождем смелым и верным¹³¹. Самое обстоятельство, что Басманов не был вельможей родовитым, казалось залогом его преданности в том предположении, что он, чувствуя цену неожиданной милости, будет всемерно стараться заслужить оную. При отпуске его к войску царица и царь говорили ему, что на него полагают всю надежду свою, и просили его служить им, как служил царю Борису. Басманов обещал, клялся, что не пощадит усилий, дабы направить всех на путь истинный, и уверениями своими успокоил царственного юношу. Но вскоре несчастный Феодор и горестная мать его должны были испытать,

что часто правители ошибаются, полагаясь на непоколебимую признательность выведенных ими временщиков.

С Катыревым и Басмановым послан был также под Кромь митрополит Новгородский Исидор для приведения к присяге всего войска. Они уже не нашли в стане Мстиславского и Шуйских. Отозвание сих первых вельмож в государстве было совершено с такой оскорбительной для них недоверчивостью, что, предписывая им немедленно ехать в Москву, таили еще от них смерть Борисову¹³². Войско известилось об оной только семнадцатого апреля, по прибытии новых вождей и митрополита, которые именем Феодора обещали всем богатые милости по отправлении сорочин Борисовых. Сделалось большое волнение. Благомыслящих людей печалило предчувствие опасностей, угрожающих отечеству; многие, напротив того, не скрывали преступной радости, внушаемой им надеждой на исполнение коварных замыслов¹³³. Однако все целовали крест Феодору, иные искренне, другие нехотя и единственно для того, что не успели условиться в действиях со своими единомышленниками.

Шаткое расположение умов не только в государстве, но даже в самом войске не могло укрыться от пронизательности Басманова и погружало его в глубокую думу. Сей мнимый поборник правды был только низким честолюбцем. В Новгороде-Северском он верен был не долгу своему, а еще неприкосновенному могуществу Борисову. Теперь же, предусматривая неминуемую гибель для Феодора, он не имел никакой охоты жертвовать собой для поддержания колеблющегося престола своих благодетелей. С другой стороны, он с точностью, бесчувствию свойственной, исчислял все выгоды, которые мог себе доставить посредством измены. Передав порученное его бдительности войско тому, в самозванстве коего не сомневался, он действительно полагал на главу его царский венец, и сия столь важная услуга открывала ему надежду, что самозванец его наградит, как бывают награждаемы сообщники похитителей чужого достояния, то есть с безмерностью, которой ожидать нельзя от законных владетелей. Сим побуждениям могли противоборствовать только правила чести и добросовестности, но они были чужды Басманову, и он решился обесславить себя навеки.

Несколько времени Басманов не приступал еще к исполнению коварного намерения своего. Прежде всего ему нужно было посредством тайных происков уговориться с теми, на сообщничество коих он полагался. Во всех сословиях нашлись изменники, даже между главными вождями. Неудивительно, что уже осрамившийся Михайло Глебович Салтыков вошел в заговор; но, чего ожидать не так легко было, то же сделал один из первейших вельмож в государстве, князь Василий Васильевич Голицын, и его постыдному примеру последовал брат его родной, князь Иван. Сии потомки Димитрия Донского и Гедимины в безумном порыве гордости считали большим унижением для себя повиноваться роду Годуновых, чем лобызать руку бродяги, который, по крайней мере, господство свое основывал на высоком имени. К сим знатым крамольникам пристали дети боярские городов Рязани, Тулы, Каширы и Алексина, где по смерти Борисовой уже признавали за государя мнимого Димитрия. Еще начальники заговора тревожились мыслью, что при войске находился четырехтысячный отряд иноземцев, по большей части немцев, которые, будучи благодетельствованы царем Борисом, казалось, должны были стоять за его сына. Но иноземцы, служа единственно из личной выгоды¹³⁴, легко забывают долг свой, когда от измены могут ожидать более пользы, чем от верности. Убежденные в сей истине, Басманов и Голицын решились в тайной беседе с начальником иностранцев, лифляндцем фон Розеном, открыть ему свои замыслы и показать, что при общем расположении умов в пользу самозванца для Феодора не оставалось никакой возможности удержаться на престоле и что ему, Розену, безумно было бы, гоняясь за призраком чести, обрекать себя на гибель столь же бесполезную, сколь и неминуемую. Если Розен еще несколько колебался, то единственно оттого, что думал, что воеводы ищут только испытать его преданность к Фео-

дору; но, удостоверясь наконец в действительности намерения их предаться Лжедмитрию, он тотчас же обещал им действовать со своей дружиной с ними заодно.

Между тем как сии ковы сплетались под Кромами, в Путивле расстрига ждал с нетерпением, какие следствия будет иметь смерть Борисова, о коей первое известие он получил двадцать седьмого апреля¹³⁵ от выбежавшего к нему из царского стана дворянина Бахметьева. Сперва он не верил столь для него радостному событию, но в скором времени со всех сторон получаемые вести подтвердили показание Бахметьева. Также приверженцы его доносили ему, что везде низкого состояния люди из ненависти к памяти Борисовой гнушались повиноваться его сыну и что даже в стане под Кромами многие не таили своей склонности отложиться от Годуновых. В сих обстоятельствах он чувствовал, что для ускорения перелома в свою пользу полезно было бы ему снова выступить в поле. Но хотя Ратомский, староста Островский, и привел ему новое подкрепление из Польши, всего-навсего было при нем только две тысячи поляков и десять тысяч русских воинов¹³⁶. Силы сии для наступательных действий казались недостаточными самозванцу, утратившему после добруньской неудачи прежнюю самонадеянность свою. Сам не смея еще выступить из Путивля, он решился выдвинуть только по направлению к Кромам отряд, состоящий из трех хоругвей польских и трех тысяч русских воинов, под начальством поляка Запорского.

Город Кромы лежит на левом берегу реки того же имени; на том же берегу находился и главный стан осаждающих войск¹³⁷. На противоположной же стороне реки стоял только отряд для наблюдения дорог, из Путивля ведущих. Татарская конница, высланная от сего отряда для разезда, донесла о приближении Запорского. Сие известие произвело в стане некоторое смятение, которым Басманов не преминул воспользоваться для приведения в исполнение своего постыдного намерения. По повелению его седьмого мая Розен с иностранной дружиной переправился за реку Крону и выстроился на обширной равнине, прилегающей к правому берегу сей реки. За ним следовали русские полки, уже приготовленные к измене своими начальниками. Когда и они окончили переправу, то Басманов явился на мосту, громогласно провозгласил государем царя Димитрия и, обращаясь к воинам, еще не подговоренным, звал тех из них, которые желают служить сыну царя Иоанна, соединиться с верными его дружинами, уже переправившимися за реку. Почти все бросились к мосту. Напрасно окольный Годунов старался противиться сему стремлению; его схватили и связали. Еще верные своему долгу простодушный князь Катырев-Ростовский и князь Телятевский, видя малое число оставшихся при них воинов, спешили отступить с ними до самой Москвы. Жители кромские, с удивительной твердостью выдержавшие трехмесячную осаду, с радостью отворили ворота новым друзьям своим.

Посягнув на дело, противное долгу и чести, Басманов действовал смело и открыто; он понимал, что впредь участь его делалась нераздельной с участью самозванца, и потому решился предаться ему телом и душой¹³⁸. Но робкий Голицын еще лукавствовал. Он сам велел связать себя, дабы в случае неудачи Лжедмитрия еще можно было бы ему приписать принуждению признание его за своего государя. Но лживым поступком сим он не успел обмануть ни потомство, ни современников, а только подал повод Басманову опередить себя в милости у самозванца.

Первым старанием изменников было послать в Путивль к Лжедмитрию с повинной, от имени войска и государства, князя Ивана Васильевича Голицына с выборными людьми от всех уездов¹³⁹. Легко себе вообразить восторг самозванца. Дотоле называясь только царевичем, он не усомнился более принять имя царя, которое ему давали уже восемьдесят тысяч русских воинов. Милостиво приняв православных из-под Кром, он послал повеление войску ожидать его под Орлом, а сам выступил из Путивля пятнадцатого мая с бывшими при нем польскими и русскими дружинами. На пути приветствовали его изменившие воеводы, сперва Салтыков и Басманов, а потом князь Василий Голицын, и с ним приехал также Шереметев, который, во

время осады Кром, начальствовал в Орле. Воеводы сии проводили самозванца до Орла, где собранное войско приняло его с радостными восклицаниями. Те, кои и неохотно передавались расстриге, не менее прочих изъявляли ему свое усердие, дабы не подвергнуться злой участи несчастных, доносчиками изобличенных в преданности к Феодору, которых разослали по темницам¹⁴⁰. Бывший начальник передового полка, окольный Годунов, также подвергся заключению. Наказав таким образом своих противников, самозванец немедленно приказал распустить недели на две или на три всех воинов, имеющих подмосковные поместья¹⁴¹. Прочим же дал повеление двинуться к Москве под главным начальством князя Василия Голицына и стараться пресечь подвоз съестных припасов в столицу, если там еще будут противиться его воцарению. Сам Лжедмитрий, имея при себе две тысячи поляков¹⁴², следовал за войском, но, не совсем доверяя еще оному, на каждом ночлеге останавливался за пять или за шесть верст от главного стана, и всегда около его квартиры сто поляков держали ночной караул. Сии меры предосторожности могли быть не совсем бесполезными, ибо действительно многие из дворян, ездивших с князем Иваном Голицыным из-под Кром в Путивль, узнали в мнимом Дмитрии чудовского дьякона¹⁴³ и в тайных беседах с горестью оплакивали, что вдалились в столь наглый обман.

Феодор еще царствовал в унылой Москве, но венец Мономахов уже спадал с юной главы его. Правительственная дума его, в беспамятстве отчаяния, не принимала никаких мер ни для замедления шествия самозванца, ни для отыскания верного убежища для царского семейства и заботилась единственно об удержании в повиновении московской черни, коей грозное молчание предвещало близкую бурю. Уже гонцы Лжедмитриевого приезжали почти ежедневно в столицу с возмутительными грамотами, но их подстерегали, ловили и предавали смерти¹⁴⁴.

Несмотря на то, расстрига надеялся еще взволновать столицу. Ему казалось нужным, для упрочения своей державы, быть призванным первопрестольным городом как законный государь, а не врываться в оный силой оружия, на праве бесчинного победителя. Для сего он отправил еще дворян, Наума Плещеева и Гаврилу Пушкина, но не в самую Москву, а в полторы версты от оной лежащее село Красное¹⁴⁵, где жили богатые купцы и ремесленники, имевшие в столице многих друзей и родственников. С сими посланными самозванец писал, что он еще не винит москвитян, которые, будучи обмануты Годуновыми, медлят признавать его, но что он надеется, что, наконец, и они, по примеру всей России, откроют глаза; что покорность их будет награждена, для бояр – прибавкой вотчин, для дворян и приказных людей – разными милостями, для торговых людей – убавлением пошлин и податей, для всего народа благоденствием и тишиной. Притом Лжедмитрий напоминал им, что в случае дальнейшего сопротивления с их стороны они не избегнут заслуженного наказания¹⁴⁶.

Красносельцы приняли честно Плещеева и Пушкина, с умилением читали привезенную ими грамоту и вызвались шумной толпой проводить их в столицу. Сие происходило первого июня. Несчастный Феодор еще надеялся смирить крамольников и выслал против Красного села воинскую дружину. Но в тех, кое еще и не изменяли ему, не было уже ни бодрости, ни усердия. Оробевшие воины его не дошли до села и без боя обратили тыл. По их следам красносельцы ворвались в Москву и, дойдя до лобного места, стали сзывать народ для прочтения Лжедмитриевой грамоты. Московские обыватели спешили на сборище, где сподвижники самозванцев толковали им, что бояре и войско не передались бы Дмитрию, если бы он не был истинным царевичем, что настало время повиниться ему и что долее противиться было бы только безумно жертвовать собой, даже без пользы для ненавистного дома Годуновых, ибо Москва, защищаемая только горстью воинов, утекших из-под Кром, не могла устоять против великих сил, направляющихся на нее. Увещения подействовали. Все согласилось провозгласить Дмитрия, иные повинуюсь внутреннему убеждению, другие имея только в виду собственную безопасность.

В то время, как таким образом возмущался народ на лобном месте, Феодор с матерью и сестрой, прелестной Ксенией, трепетали во дворце, окруженные знатными сановниками государства, еще верными данной юному царю присяге, но с ужасом усматривающими уже неминуемое торжество самозванца. Бодрствовал один патриарх! Он заклинал бояр идти вразумить народ и направить его на путь долга и правды. Внемля ему, князь Мстиславский, князь Шуйский, Бельский и другие вышли на лобное место и тщетно пытались усовестить взволновавшуюся чернь¹⁴⁷. Грозный вопль мятежа заглушал речи их. Им кричали: «Не гибнуть нам за Годуновых! Да здравствует Димитрий! Мы были во тьме кромешной! Красное солнце наше восходит!». С сими словами бунтовщики хлынули ко дворцу. Еще кремлевские стены могли бы остановить их стремление, но в беспамятстве страха никто не помыслил затворить крепостные ворота. Не встречая нигде сопротивления, буйные толпы ворвались во дворец, схватили царя, царицу и царевну, но, посреди самого неистовства своевольничества сохраняя еще некоторое уважение к прежним повелителям своим, отвели их безвредно на старый двор Годунова. Воздержанность сия тем более была замечательна, что ненависть народная к памяти царя Бориса существовала во всей силе¹⁴⁸. Все родственники его, Годуновы, Сабуровы и Вельяминовы, были заключены, дома их разломали, имение разграбили не только в столице, но даже потом и в поместьях и вотчинах их. Имение иностранных медиков также подверглось расхищению, единственно оттого, что покойный царь любил и жаловал их¹⁴⁹.

Наконец бояре, уже действующие именем Димитрия, утишили мятеж. Вся Москва целовала крест самозванцу, и третьего июня Боярская дума выслала к нему с покорностью столицы бояр: князя Ивана Михайловича Воротынского и князя Андрея Андреевича Телятевского, окольного Петра Шереметева и думного дьяка Власьева¹⁵⁰. Посланные сии нашли расстригу в Туле, уже извещенного о событиях московских через полученные им донесения от Плещеева и Пушкина. Самозванец принял на себя вид законного государя, справедливо раздраженного слишком продолжительным упорством своих подданных¹⁵¹. Первым наказанием для прибывших вельмож служило то, что Отрепьев прежде их допустил к руке своей присланных к нему с Дона казаков. Когда же позволил явиться пред собой представителям думы боярской, то грозно упрекал их в непокорности, а князя Телятевского не хотел даже простить за то, что под Кромами он не пристал к изменившим в пользу его воеводам. Он приказал посадить его в тюрьму и позволил на глазах своих казаков бить его почти до полусмерти.

Опираясь на покорность войска и столицы, Отрепьев уже мог везде действовать как царь законный. По повелению его в отдаленнейшие города России разослали указы для приведения всех людей к присяге царице-инокине Марфе Феодоровне и сыну ее царю Димитрию Иоанновичу¹⁵². Нигде не встретилось ни малейшего сопротивления, и целая Россия беспрекословно целовала крест дерзкому бродяге.

Однако самозванец еще медлил вступлением своим в Москву. Его тревожила мысль, что там он будет встречен патриархом, которому лично был известен. Также немало заботило его и то, что неловкие клеветы его в день возмущения позволили народу оставить в живых царя Феодора. Если бы расстрига действительно был настоящим Димитрием, то мог бы великодушно миловать Феодора, который в глазах его был бы только невинным сыном его злодея, но для самозванца существование законного государя представляло ежедневную опасность, ибо только явление настоящего Димитрия могло справедливо уничтожить права на престол Феодора, законно наследовавшего после отца, коего избрание было единогласным делом целой России. К тому же прекрасные качества Феодора привлекали к нему сердца всех, коих не ослепляла закоснелая ненависть к царю Борису. Отрепьев не был нрава свирепого, не любил проливать крови, но в сем случае желание упрочить свое владычество заглушало в душе его глас совести и человеколюбия. Он решился убийством Феодора избавиться от докучного соперничества.

Приняв сие гнусное намерение, самозванец отправил перед собой в Москву Басманова с частью войска. Но сердце человеческое вмещает в себе различные степени злодейства! Басманов мог быть изменником, а не палачом! Он взял на себя только удерживать в повиновении столицу. Для святотатства же и цареубийства Лжедмитрий избрал столь же низкого душой, сколь высокого родом князя Василия Голицына и ему придал в товарищи подобного ему в бесстыдстве князя Василия Рубца-Мосальского, который в Путивле первый из чиновных людей добровольно предался самозванцу. С ними же был послан дьяк Сутупов, человек одинаковых с ними свойств. По прибытии своем в Москву злодеи занялись сначала изгнанием патриарха. Посланные ими люди ворвались в Успенский собор, где священнодействовал Иов, и, не воздерживаясь святостью места, в самом алтаре стали рвать с него святительскую одежду¹⁵³. Иов не унижил высокого сана своего непристойной слабостью. Сняв сам с себя панагию, он положил ее у чудотворной иконы Владимирской Богоматери и со слезами возопил: «О Всемило- стивая Пречистая Владычица Богородица! Сия панагия и сан святительский возложен на мя недостойного в храме твоём, Владычица, у честного образа Твоего чудотворной иконы; сею аз грешный исправлял слово сына твоего Христа Бога нашего девятнадцать лет; сия православная христианская вера нерушима была; ныне же, грех ради наших, видим на сию православную христианскую веру находяще еретичу, мы же грешные молим, умоли, Пречистая Богородица, Сына Своего, Христа Бога нашего, утверди сию православную христианскую веру непоколебимо». Сие упредительное воззвание против готовящихся для правоверия напастей еще более озлобило против святителя Лжедмитриевых слуг, которые, одев его в черную рясу простого монаха, позорно таскали по храму и по площади и, наконец, посадив в телегу, послали на обещание в Старицкий Богородицкий монастырь.

Совершив постыдный подвиг над патриархом, князья Голицын и Мосальский не замедлили исполнить и ужасный приговор над царским семейством. Взяв с собой Михайлу Молчанова, Андрея Шелефединова¹⁵⁴ да трех стрельцов, они отправились на Годунов двор, где нашли царя, царицу и царевну, сидящих вместе. Их немедленно развели по разным комнатам и принялись за злодейское дело. Царица тотчас же была удушена, но молодой Феодор защищал жизнь свою как разъяренный лев. Долгое время он боролся против четырех убийц и пал мертв только тогда, когда получил удар, отнявший у него все силы¹⁵⁵. Царевну Ксению, которой дивная красота возбуждала сладострастие часто выдавшего ее в Чудове монастыре самозванца, была сбережена для похоти палача ее несчастного семейства и отведена безвредно в дом позорного угодника Лжедмитриева, князя Мосальского. По убийении державного юноши и его матери безбожный князь Голицын старался разгласить в народе, что они сами со страха отравили себя. Но поелику самозванец не иначе мог извлечь пользу от смерти Феодоровой, как удостоверив в оной всю Россию, то и вынуждены были выставить всенародно трупы несчастных жертв, так что всякий мог убедиться, что смерть им приключилась от удушения¹⁵⁶. Самый прах царя Бориса не оставлен в покое; тело его было выкопано из Архангельского собора, переложено в простой гроб и вместе с телами супруги и сына погребено в Варсонофьевском монастыре на родовом кладбище Годуновых¹⁵⁷. Заключение со дня мятежа родственники Годуновых были разосланы по низовым и сибирским городам. Только Семена Годунова, сосланного в Переславль-Залесский, там удушили. Сия казнь служила ему наказанием за то, что при царе Борисе он был главным орудием гонений на Романовых, к коим самозванец выказывал любовь свою, уважая в них родственную связь с братом, будто милым сердцу его царем Феодором Ивановичем.

Очистив таким образом столицу от всех противников своих, расстрига решился идти к оной. На пути в Серпухове он в великолепных шатрах угощал обеденным столом до пяти-сот знатных особ¹⁵⁸. Потом шестнадцатого июня перешел в село Коломенское, где дневал несколько дней, чтобы предварительно разведать о расположении москвитян, коим не переста-

вал еще не доверять¹⁵⁹. Но опасения его казались совершенно неосновательными. Сановники московские спешили к нему в Коломенское с хлебом, солью и богатыми дарами. Лазутчики его также единогласно извещали, что столица ждет его с радостным нетерпением.

Самозванец решился, наконец, вступить в Москву двадцатого июня, но и среди торжественного шествия своего он для личной безопасности принимал меры, которые обнаруживали невольное смущение преступной души. Правда, его окружали шестьдесят русских вельмож, но впереди и сзади ехали дружины польской конницы; потом следовало иностранное войско, казаки, и, наконец, русские стрельцы замыкали шествие, во все время коего гонцы скакали беспрестанно взад и вперед по всем улицам и ежеминутно доносили Лжедмитрию о состоянии столицы¹⁶⁰. Но все кипело радостью и усердием. Во всех церквах звонили в колокола. Народ толпился на улицах, по коим проезжал самозванец; кровли домов и церквей усыпаны были зрителями. При появлении Лжедмитрия народ кланялся в землю и кричал: «Здравствуй, наш отец! Государь и великий князь всероссийский! Даруй Боже тебе многие лета! Да осенит тебя Господь на всех путях жизни чудесной милостью, которою Он спас тебя в сем мире. Ты наше солнце красное!» Самозванец отвечал: «Здравствуйте, мои дети, встаньте и молитесь за меня Богу!» Время¹⁶¹ было прекрасное, но в ту самую минуту, как самозванец через живой мост и Москворецкие ворота выехал на площадь, поднялся страшный вихрь, так что лошади едва не попадали. Народ в ужасе принял сие за худое предзнаменование для нового царствования¹⁶². Однако шествие продолжалось, и самозванец достиг лобного места, где ожидало его духовенство с крестами и иконами, сошел с коня, приложился к святыне и приказал петь молебен, в продолжение коего к соблазну и первому негодованию москвитян поляки, не слезшие с лошадей, трубили в трубы и ударили в бубны. Потом расстрига пошел в Кремль и в царских палатах сел на престоле мнимого отца своего Иоанна Грозного¹⁶³. Провожавшее его польское войско помещено было все вместе на Посольском дворе. Лжедмитрий, не отстранивший еще от себя недоверия москвитян, желал иноземцев сих иметь всегда у себя под рукой. Только впоследствии времени, из уважения к жалобам поляков на претерпеваемую ими тесноту, позволил он некоторым из них перейти на особые квартиры.

Впрочем, подозрения самозванцевы имели некоторое основание. Невозможно, чтобы в продолжении шествия его почти через весь город никто из московских жителей не узнал в нем дьякона Отрепьева. Уже многие шептали между собой, что, по явному попущению Божию, русские за грехи свои подпали под иго наглого обманщика. Хотя таковые толки, еще противоречащие общему мнению, и не оглашались, но лазутчики Лжедмитриевы довели их до его сведения¹⁶⁴. Самозванец, опасаясь, чтобы рано или поздно истина не разъяснилась, дал поручение окольному Богдану Бельскому упредить грозный глас ее новым лживым свидетельством. Бельский, старый любимец царя Иоанна Васильевича, был человеком тщеславным и гибкосовестным. Он вышел на лобное место в сопровождении других вельмож и, напомнив народу, что по избранию царя Иоанна был пестуном малолетнего царевича Дмитрия, клятвенно уверял, что самозванец был истинным сыном Иоанна, спасенным по особенной Божеской милости, и, наконец, поцеловав висящий на груди его образ Николая Чудотворца, воскликнул: «Берегите и чтите своего государя!» Слушатели единогласно ответствовали: «Бог да сохранит царя-государя и погубит всех врагов его». Сим криводушным действием вероломного старца достойно заключилось позорное торжество сего несчастно незабвенного дня, в который русские, так сказать, на раменах своих внесли удалого злодея в священные чертоги древних своих державцев.

Глава 2 (1605–1606)

С первого взгляда казалось бы, что человек, из низкого состояния достигнувший верховного сана, уже должен почитаться преодолевшим главнейшие препятствия, сопряженные со столь многотрудным предприятием, и что ему остается только спокойно наслаждаться тяжко добытым величием. Но история как древних, так и новейших времен почти всегда являет нам противное. Она многими примерами удостоверяет, что скорее можно похитить престол, чем удержаться на похищенном. Впрочем, сие довольно объясняется и тем, что никто без особенной отважности и слепой дерзости не может безмерно возвыситься, а самые свойства сии исключают благоразумие, необходимое для упрочения верховной власти, и, напротив того, внушая чудному счастливцу опасную самонадеянность, ведут его к опрометчивости и своеуправию, всегда пагубным для правителей. Одинаковые причины должны иметь и одинаковые последствия: участь Лжедмитрия предугадывается.

Всякое новое царствование, каково бы оно ни было впоследствии, всегда начинается похвально. Первые действия самозванца правления тем более ознаменованы были милостями, излианными почти на все сословия, что он сам говаривал, что в его понятиях державцам представляются только два способа для укрепления своей власти: удерживать всех в повиновении чрезмерной суровостью или милостями и щедротами стараться привязывать к себе людей, не жалея для сего никаких сокровищ, и что он, по побуждению сердца своего, избрал последнее средство¹⁶⁵.

Не только мнимые родственники нового царя Нагие, а также Романовы, но и все прочие жертвы мстительного и подозрительного царя Бориса были возвращены из ссылки. Невольно постриженного в монахи Филарета Никитича Романова посвятили в митрополиты Ростовские и Ярославские¹⁶⁶. Слепой царь Симеон Бекбулатович был вызван в столицу и принят с великой честью¹⁶⁷. Самые родственники Годуновых испытали важное облегчение в своей участи. Их не только освободили от заключения, но даже дали им воеводские места в Сибири и других отдаленных городах. Басманов первый получил боярство. Потом многие из знатных особ были пожалованы в бояре, другие в окольничие. Всем служилым людям удвоили денежное жалованье. Торговля была объявлена совершенно свободной, как для русских, так и для иностранцев¹⁶⁸. Приказам повелено вершить дела без всяких посул. Объявлено, что сам царь будет в каждую среду и субботу у себя на крыльце принимать челобитные от всех людей. Лжедмитрий не только сам хотел хвалиться справедливостью, но даже оказывал готовность исправлять неправды прежних лет. Так, например, мнимый отец его, царь Иван Васильевич, по злостному своеуправию своему мало заботившийся о священной неприкосновенности частной собственности, забирал у многих лиц деньги, которые никогда возвращаемы не были не только самим Грозным царем, но даже и в правление Бориса Годунова¹⁶⁹. Самозванец приказал выдать все суммы сии, кому они принадлежали. Следуя принятому намерению по возможности задабривать всех, он хотел было угодить и духовенству, призвав епископов в государственную¹⁷⁰ думу, которую предполагал преобразовать наподобие польского сената. Но сделанное уже им на сей предмет предначертание не было произведено в исполнение, вероятно, потому, что он еще опасался на первых порах в столь важном деле огорчить русских оскорбительным для их народной гордости подражанием польскому установлению¹⁷¹.

Одни низкого состояния люди не видали от самозванца облегчения в участи своей. Но Лжедмитрий, имея в особенности в виду привязать к себе военных людей, не хотел лишить их великих выгод, предоставляемых им законами Годунова о крестьянах и холопах. Только

несколько месяцев спустя объявлен был боярский приговор, который хотя и утверждал крепостное право владельцев, но, по крайней мере, обуздывал их наклонность к несправедливым притязаниям. По силе сего приговора бежавшие крестьяне возвращались беспрекословно прежним владельцам, кроме покинувших жилища свои в голодные 1602, 1603 и 1604 годы, потому что на родине нечем было им пропитаться. Таковые оставались за теми владельцами, в домах и имениях коих нашли достаточное призрение в нужное время. Также, если крестьянин какого владельца, поступивший в голодные годы к нему в холопы, стал бы избывать холопство под предлогом, что ему в крестьянстве было чем прокормиться, но что его закабалил владелец насильно, то повелевалось разыскивать, записана ли кабала в городе в книге. Если записана, то челобитчик оставался в холопстве по той причине, что не жаловался о насилии при явке кабалы; напротив, не явленным кабалам не позволялось давать веры, и в таком случае холоп обращался по-прежнему в крестьянство. Впрочем, уже введенная в обыкновение пятилетняя давность на отыскание беглых крестьян была утверждена во всей ее силе¹⁷².

Отрешение Иова оставляло праздным первосвятительское место в России. Самозванцу нужно было видеть на оном человека уклонного, который бы согласился сделаться соучастником тайных замыслов его против православия. Выбор его пал на Игнатия, архиепископа Рязанского. Сей пастырь, льстивый и двуязычный грек, был прежде архиепископом Кипрским, но, изгнанный турками, он нашел сперва убежище в Риме, а потом приехал в Россию, где по особенному благоволению царя Бориса поручили ему Рязанскую епархию¹⁷³. В возмездие дому Годуновых за сие благодеяние он первый из святителей выехал в Тулу на сретение самозванцу. Возведенный на патриарший престол, он с робким молчанием царедворца смотрел на все соблазны, коими самозванцу суждено было огорчать правоверных.

Но ни посвящение надежного патриарха, ни какое-либо государственное дело не были тогда для Лжедмитрия предметом главнейших забот. Все внимание его было устремлено на успех начатых им тайных сношений с царицей-инокиней Марфой Федоровной, матерью настоящего царевича Дмитрия. Признание ею самозванца за своего сына было для него необходимым условием прочности его воцарения. Подосланным от него людям велено было напомнить царице ожидающие ее почести, а с другой стороны, внушить ей, что если она отважится изобличать его во лжи, то неминуемо обречет на верную погибель не только себя, но и весь свой род¹⁷⁴. Прельщениями и угрозами увлеченная, царица, наконец, согласилась способствовать обману. Обрадованный самозванец послал к ней в Выксинский монастырь, – звать ее в столицу, – великого мечника, князя Михайлу Васильевича Скопина-Шуйского, с блестящей свитой. Час первого свидания обманщика с мнимой матерью для обеих сторон был трудным испытанием. Осторожность требовала не давать оному свидетелей, но также неблагоприятно было бы самозванцу не встречать царицы. Для соглашения сих противоположностей он выехал восемнадцатого июля в село Тайнинское, где по приказанию его был разбит шатер близ большой дороги. Царица одна, введенная в шатер, ожидала в оном царя, который также один вошел к ней. Тут, повторяя ей обещания и угрозы, он уговорил ее выказывать к нему притворную нежность. Оба вышли из шатра, обнимая друг друга к умилению легковверных зрителей, которых собралось великое число. Царица села в карету, а самозванец с обнаженной головой шел возле нее около трех верст, опираясь на подножку кареты¹⁷⁵. Потом он сел на лошадь и поскакал вперед, дабы встретить ее на пороге царских палат¹⁷⁶. Впоследствии царица перешла в богато изготовленные для нее покои в девичьем Вознесенском монастыре, где получила царское содержание и была ежедневно посещаем мнимым сыном своим. Через три дня после ее приезда самозванец венчался на царство в Успенском соборе, с обыкновенными обрядами.

Хотя, по-видимому, все споспешествовало Лжедмитрию, однако много еще забот ему предстояло для сокрытия истины. Настоящая мать его, Варвара Отрепьева, родной брат и дядя Смирной-Отрепьев, не обинуясь, всему Галичу объявляли о гнусном обмане. Смирной за сии

речи был сослан в Сибирь, но глас природы не заглушался еще в сердце самозванцев; он не отважился распространить месть свою на родительницу и на единокровного своего¹⁷⁷, и безнаказанность сих лиц придавала еще более весу их уликам.

Не в одном семействе Отрепьева нашлись смелые поборники правды. Среди самой Москвы явился монах, всенародно удостоверяющий, что давно знает Отрепьева, который учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре, и что сей же именно человек овладел царским престолом под именем Димитрия¹⁷⁸. Монах был схвачен и тайно умерщвлен в тюрьме.

Сколь ни важны были свидетельства сии, носившие на себе несомненный отпечаток самоотвержения, недоступного для клеветников, со всем тем, происходя от людей незнатных, они мало беспокоили Лжедмитрия, которого гораздо более тревожили разглашения, деланные в столице по наущению князя Василия Ивановича Шуйского. Сей вельможа, более всех прочих убежденный в самозванстве расстриги, мог согласиться признать его за своего государя единственно по необходимости покориться первому порыву всенародного увлечения. Но в сердце своем он не переставал питать надежду, что в скором времени сила истины рассеет чад непонятного предубеждения. Удрученный стыдом и горестью, он вменял себе в обязанность способствовать ожидаемому им спасительному противодействию, в чем мог успеть более всякого другого, потому что имел влияние на московских граждан, которые вообще любили его за его приветливость и уважали в нем необыкновенные способности ума высокого, соединенные с великим богатством и знаменитостью происхождения. Многочисленные приверженцы его стали распространять в народе толки о самозванстве царя. Внушения сии были деланы даже без надлежащей осмотрительности, так что дошло о них до сведения Басманова, который спешил предостеречь Лжедмитрия. Разгласителей схватили и пытали¹⁷⁹; многих из них разослали по темницам, но двух, более прочих изобличенных в дерзких речах против обладателя престола¹⁸⁰, а именно дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора Калачника казнили смертью¹⁸¹. Калачник, готовясь положить голову на плаху, с твердостью говорил народу: «Се прияли есте образ антихристов, и поклонитесь посланному от сатаны, и тогда разумеется, егда вси от него погибнете». Но еще не разуверенная чернь ругалась ему и кричала, что поделом погибает клеветник.

Оставалось наказать главного виновника опасной молвы, князя Шуйского. Но муж сей стоял на столь высокой степени в общем мнении, что самозванец для беспрепятственного совершения над ним казни почел необходимым прибегнуть к мерам чрезвычайным, как при постановлении приговора, так и при исполнении оного. Шуйский предстал перед собором, составленным, как в то время водилось только при решении великих земских дел, из духовенства, бояр и выбранных людей всех сословий. Все единогласно признали Шуйского виновным в оскорблении царского величества дерзкой клеветой и приговорили его к отсечению головы¹⁸². В назначенный для казни день осужденный выведен был на лобное место, которое окружали вооруженные стрельцы и поляки и где уже палач готовил секиру и плаху¹⁸³. На кремлевских стенах и башнях выставлены были также воины с оружием в руках. Народ роился по площади. Бояре Салтыков и Басманов, разъезжая между толпами, читали следующее провозглашение: «Сей великий боярин, князь Василий Шуйский, мне, природному своему государю, царю и великому князю Димитрию Иоанновичу всея России изменяет и рассеивает неприличные речи, не хотя меня на государстве царем видети, и встужает с всеми бояры и людьми Московского государства, и с всеми православными христианами; называет меня еретиком, Гришкою Отрепьевым, расстригой, и за то его осудили мы смертью казнити, да умрет. Ибо сие не мною, не ново уложилось, но отдревле, от прародителей наших, что за измену казнити, не щадя ни дяди, ни брата, ни сродников своих, ни великих бояр». Слушатели, удерживаемые в повиновении присутствием войск, одним унылым молчанием выражали свое негодование. Шуйский не выказывал робости. Когда палач стал раздевать его, то он еще громко воскликнул: «Братья!

Умираю за веру христианскую и за вас!» Уже он клал голову на плаху, как вдруг в Спасских воротах раздается крик: «Стой! Стой!» Выбежавший из Кремля немец с царской грамотой в руках объявляет, что царь, по ходатайству поляков, дарует жизнь преступнику. Радость была всеобщая.

На самом деле не полякам Шуйский обязан был своим спасением. Напротив того, многие из них, из самых приближенных к Лжедмитрию, предусматривали большую опасность в помиловании столь важного врага¹⁸⁴. Но за князя Василия Ивановича явился ходатай, которого предстательства не мог отвергнуть и сам самозванец. Царица-инокиня Марфа, вынужденная притворством своим упрочивать богопротивный обман, томилась душевной тоской; для уменьшения тяготившего ее совесть греха она решилась по крайней мере не допускать до казни знатнейшего свидетеля истины и требовала от мнимого сына своего смягчения жребия несчастного Шуйского¹⁸⁵. Лжедмитрий не смел противиться ее желанию, но вместе с тем он разгласил, что умилился по просьбе поляков, вероятно, чтобы участие царицы в сем деле скрыть от народа, которому действительно могло казаться странным видеть мать, заботящуюся об избавлении злейшего и опаснейшего врага сына своего. Князь Василий Иванович с двумя родными братьями своими, Дмитрием и Иваном, были сосланы в пригороды Галицкие, а имение их отобрано в казну¹⁸⁶.

Представился еще другой случай, где также царица вменила себе в священную обязанность противиться воле самозванца. Тело настоящего царевича Дмитрия похоронено было в Угличе в соборной церкви. Сия почесть несовместна была с воцарением мнимого Дмитрия, который признал необходимым для себя вырыть тело и похоронить на общем кладбище, как простого поповского сына¹⁸⁷. Но, не дерзая исполнить сего без соизволения царицы, он просил ее не противиться столь нужному для его спокойствия действию. Царица ужаснулась и решительно отказалась предать на поругание останки милого ее сердцу отрока. Все усилия самозванца, чтобы поколебать ее упорство, были безуспешны, и он вынужденным был отказаться от своего предприятия. Впрочем, одно намерение потревожить прах сына так ожесточило мать, что она стала искать тайного средства важным свидетельством своим изобличить в самозванстве гнусного обманщика. При ней находилась у нее воспитанная молодая лифляндка Розен, взятая в плен ребенком во время Лифляндской войны. Сия девушка вошла в сношение с жившим в Москве шведом, который по убеждению ее поехал в Польшу с поручением царицы известить короля, что похититель московского престола не есть ее сын, хотя она для своей безопасности явно и признала его за такового.

Около того же времени случилось большое смятение в столице. Прибывшие с самозванцем поляки много бесчинствовали, полагаясь на потворство царя. Один из их товарищей, шляхтич Липский, уличенный в преступлении, был схвачен и приговорен к наказанию кнутом¹⁸⁸. Но когда, по тогдашнему русскому обыкновению, осужденного водили по улицам, поляки бросились отбивать его. Сделалась сильная драка, в коей с обеих сторон было много убитых и раненых. Так как число русских постепенно увеличивалось, то поляки укрылись в занимаемом ими Посольском дворе, который немедленно был окружен несколькими десятками тысяч разъяренных московских обывателей. Все предвещало кровопролитие, еще ужаснее прежнего. Для отвращения сей беды царь послал объявить гнев свой полякам и требовал от них выдачи зачинщиков своевольства, угрожая им в случае дальнейшего упорства приказывать подвести пушки для разгромления их убежища. Поляки отвечали, что ожидали более благодарности от того, кого вывели на плечах своих, и что лучше желают все погибнуть, чем самим выдать на верную смерть кого-либо из своих соотечичей. Тогда Лжедмитрий вторично послал склонять их к оказанию необходимой податливости, представляя им, что только выдачей зачинщиков можно надеяться усмирить мятежную чернь и что, впрочем, он обещает в скором времени возвратить безвредно виновных. Тогда поляки выдали трех товарищей:

Дзержбицкого, Щигельского и Шелиборского, коих посадили в тесную темницу. Московские обыватели, получив удовлетворение, коего домогались, разошлись по домам, а на другой день всех трех товарищей отправили обратно к полякам.

Сие происшествие достаточно показывало Лжедмитрию, что нелегко будет подданным его ужиться с приведенными им иноземными гостями. Увлекаясь сродным ему самонадеянием, он возмечтал, что может обойтись и без иностранной стражи и вверить охранение своей особы одним русским, коих надеялся совершенно привлечь к себе щедротами своими и кротостью правления. Вследствие сего он оставил у себя на службе только роту пана Доморацкого, прежде бывшую его собственной, и распустил все прочие польские хоругви¹⁸⁹, заплатив с каждого коня гусарам по сорок злотых, а пятигорцам по тридцать семь злотых¹⁹⁰ (то же нынешних серебряных рублей). Но немногие из поляков сохранили эти деньги. Прочие, получив по тогдашнему времени весьма значительное жалованье, еще на Москве все промотали, пропили или проиграли в кости и воротились ни с чем в свое отечество, жалуясь на скупость царя, хотя сами были виновниками своей нищеты.

Самозванец, имея в виду задобрить русских милосердием необычайным, решился прервать ссылку Шуйских, даже прежде нежели они достигли назначенных для жительства их мест. Им возвратили взятое у них имение и все прежние чины и почести¹⁹¹. Послабление, опасное для самозванца, который не рассудил, что безвредно для себя миловать преступников принадлежит одним законным государям и составляет исключительное преимущество их священного права.

По крайней мере, если Лжедмитрий полагал утвердить престол свой на любви народной, должно было ему тщательно оберегаться своего легкомыслия и в особенности стараться не выказывать ни отвращения к обычаям русским, ни наклонности к польским. Напротив того, он везде и всегда пренебрегал отечественными обрядами и упражнения и потехи свои устраивал на иноземный образец. Русские слышали с омерзением, что у него во время стола гремела музыка, что он почти всегда одевался по-польски, ел телятину, не молился иконам, садясь за обед, и не умывал рук по окончании оного¹⁹². Удивлялись также тому, что он не ходил в баню по субботам и не спал после обеда, а вместо того выходил из дворца, сам-друг, для посещения аптекарей, серебряников или каких других ремесленников. Самое удалство его мало нравилось. Он упражнялся в пляске, живо вскакивал на бешеных лошадей, бил сам медведей. Все сие было неприличным в глазах людей, привыкших к степенной величавости прежних царей, которые не иначе переходили из одного покоя в другой, как поддерживаемые под руки кем-либо из окружающих их многочисленных царедворцев, а когда садились на коня, то всегда два боярина подносили скамью, чтобы облегчить труд государя. Неудивительно, что следствием столь резкой перемены было общее охлаждение к Лжедмитрию и что, не усматривая в нем ничего, означающего царское происхождение, стали называть его польским *свистуном*.

Впрочем, не одна наружность была позорна в самозванце. Он и в поступках и действиях большой важности оказывался безрассудным и развратным до бесконечности. К величайшему соблазну своих подданных он приказал отвести иезуитам, для свободного священнодействия по римскому обряду, обширный двор поблизости дворца¹⁹³. В Боярской думе, где заседал почти ежедневно, хотя и отличался некоторым остроумием, но вместе с тем приводил в сильное негодование бояр беспрестанными упреками за их невежество и советами учиться у иноземцев¹⁹⁴. Вообще с вельможами он обходился неосмотрительно: иногда дружил с ними без надлежащего приличия, зато часто ругал их и бивал палкой, и то и другое к явному нарушению царского достоинства. Любострастие его также не знало никаких границ; он бесчестил даже юных монахинь¹⁹⁵ и в довершение неистовств своих взял в наложницы несчастную жертву своего властолюбия, царевну Ксению¹⁹⁶. Еще справедливо обвиняли его в чрезмерной расто-

чительности. Издержав в первые три месяца своего правления до семи с половиной миллионов рублей¹⁹⁷ (до двадцати пяти миллионов нынешних серебряных рублей), он не переставал сыпать деньгами, и это не для государственных нужд, а для удовлетворения собственных прихотей; тратился на музыкантов и других угодных ему тунеядцев и сам любил роскошь необычайную¹⁹⁸. Как будто пренебрегая прежним жилищем царей, он выстроил в Кремле, на берегу Москвы-реки, деревянный дворец, великолепно убранный, насупротив коего выставил огромного медного Цербера с бряцающими челюстями. Сие изображение адского чудовища ужасало набожных россиян и усилило уже начинавшее распространяться в нижних состояниях мнение, что престолом овладел чародей.

К довершению безрассудных действий своих самозванец готовился исполнить данное им Мнишкеу обещание вступить в брак с дочерью его Мариной, хотя легко мог предвидеть, что выбором невесты иноверной и принадлежащей к народу, всегда враждебному России, он крайне восстановит против себя своих подданных. Но, не переставая пренебрегать мнением россиян, он назначил посланником в Польшу надворного казначея Афанасия Власьева для торжественного испрошения согласия короля на обручение его с Мариной и для немедленного совершения сего обручения по силе данного ему полномочия.

Прежде еще отъезда Власьева из Москвы прибыл туда посланником от короля Сигизмунда секретарь его, Александр Гонсевский, староста Велижский. Кроме поздравления Лжедмитрия с восшествием на престол и уведомления о намерении короля вступить в брак с австрийской эрцгерцогиней Констанцией, Гонсевский имел еще поручение уведомить самозванца о пронесшемся в Польше слухе, что Борис Годунов еще жив и находится в Англии. Обещая всякое нужное содействие Польши для внутреннего успокоения России, он требовал взаимности со стороны царя в отношении к Польше и просил не дружитья со Швецией и предоставить полякам такой же свободный торг по всей России, каковым пользуются русские в Польше. Посланнику отвечали, что слух о Годунове не имеет никакой основательности, что польским купцам будет свободный пропуск по всему государству, но что нельзя еще вполне удовлетворить желанию короля касательно Швеции, потому что, хотя царь и гнушается преступными действиями похитителя шведского престола, однако не может приступить к настоящему разрыву с ним, пока не уверится в истинной приязни к себе короля Сигизмунда, который, уменьшая титул государя Российского, подавал повод сомневаться в своем доброжелательстве. В самом деле, король в письме своем не называл Лжедмитрия царем, а только господарем и великим князем¹⁹⁹

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.